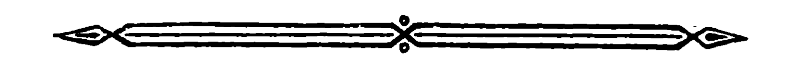
М. ГОРЬКИЙ

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

М. Горький

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1952



Ромэну Роллану
Человеку
Поэту

I

Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого», — ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи перед иконами, наиболее чтимыми в городе Дремове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили — прасол, другие — бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

— Уповательно — из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, че-

ловек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:

— Видали,— лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ердансной узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

— Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

— Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ердан-ская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

— Зовут — Илья, прозвище — Артамонов,— сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело — не допыталась я. Приехал по дороге из Вор-

города, тою же дорогой и отбыл в три часа — в четвертом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам-четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

— Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего — Петр, горбатого — Никита, а третий — Олешка, племянник, но усыновлен им, Ильей.

— Лен мужики наши мало сеют,— раздумчиво заметил Баймаков.

— Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший — похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей — кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

— В солдаты одного? — спросил Баймаков.

— Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

— Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом, один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:

— Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками:

— Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть — не знаю, а ты — эко! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не знаешь — какова... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

— Про меня — спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого — не услышишь, вот те порука — святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, все знаю, четыре раза неприметно был, все выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел — не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

— Ты погоди...

— Недолго — могу, а долго годить — года не годятся,— строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

— Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

— Господи — помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

— Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

— Неизвестно. А где Наталья?

— За сахаром пошла в кладовку.

— За сахаром,— сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью.— Сахар. Нет, это правду говорят: от воли — большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

— Ты — что? Опять неможется?

— Душа у меня взныла. Думается — человек этот пришел сменить меня на земле.

Жена начала утешать его:

— Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.

— То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай — подумаю...

Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать — умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

— Вот — с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте — отдохну.

— Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна,— приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

— Иди, Ульяна; уповательно — это судьба,— тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав — ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных, красивых ресниц:

— Что ж, Митрич, видно, и впрямь — судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах.

— Во имя отца и сына... Господи, не оставь милостью чадо мое единое!

И строго сказал Артамонову:

— Помни,— на тебе ответ богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

— Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:

— Идите.

А когда благословенные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря:

— Будь покоен, все пойдет, как надо. Я — тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек — не бог, человек — не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

— Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно.

— Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела,— ну — воля божья!

Ульяна жалобно крикнула:

— Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому:

— Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла:

— Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать!

Муж остановил ее:

— Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

— Ты — держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

— Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал:

— И Евсей, покойник, и Ульяна — люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

— Да-а, темное дело.

— Я и говорю — темное. Наверно — фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:

— Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило,— посерел, цыган...

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив, красавец Олешка — задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетались плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и в стороне от нее, под Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых бревен,— дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастия:

— Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И — пожар может быть: плотники курят табак, а везде — стружка.

Чахоточный поп Василий вторил ему:

— На песце строят.

— Нагонят фабричных — пьянство начнется, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

— Людей больше — кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками.

— Огород затевает,— догадались горожане.— Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:

— Глядите, глядите,— стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

— Ой, ой — утонет!

Ей дали подзатыльник:

— Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним и кто-то боязливо сказал:

— Ишь ты, звереныш...

— Не любят нас,— заметил Петр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

— Дай срок — полюбят.

И обругал Никиту:

— Ты, чучело! Гляди под ноги, не смеши народ. Нам не на смех жить, барабан!

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

— Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимью за убийство — сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:

— Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы — люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был — знаменитый человек! А построил суконную фабрику — не пошло дело. И что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

— Вам жить — трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а — как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?

— Слышу.

— То-то. Понимай. Живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да — толку мало.

Иногда он говорил час и два, все спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не торопясь, кует звено за звеном цепи слов. В большой, чистой кухне теплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шелково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкая косточками счет, Алексей помогает ему, Никита искусно плетет корзины из прутьев.

— Вот — воля нам дана царем-государем. Это надо понять: в каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут — весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь — с господ немного возьмешь, они сами всё проживают. Георгий, князь, еще до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа — невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять лет ружье таскать будет, а — иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству — конец подписан, теперь вы сами дворяне,— слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:

— Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами:

— Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил ее:

— Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а бог терпит. У меня — нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:

— Больше пятисот не дам за дочерью!

— Дашь и больше,— уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга. Артамонов — облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно

моложе, на ее сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

— Красивая ты, Ульяна Ивановна.

— Еще чего скажешь? — сердито и насмешливо спросила она.

— Ничего не скажу.

Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

— Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидала дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр. Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

— Наталья — домой!

Петр поклонился ей.

— Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

— Она мне нареченная, — напомнил Петр.

— Все едино; у нас свои обычаи, — сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что это я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

— Хоть он и благословенный тебе, да еще — либо дождик, либо снег, либо — будет, либо — нет,— сурово сказала она.

Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем, — к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

— Тут гадать не о чем, — сказала Ерданская, — я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут, — я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти

к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.

— То-то что медведем, — согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

— Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь, — испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал никому неведомый и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

— Это значит: верит он силе своей, — объяснила премудрая просвирня.

Но все это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

— Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное:

— Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и все чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти все чаще становились против нее, затемняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

— Что, Олеша? — спрашивал Артамонов. — Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:

— Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

— За что?

— Не любят.

— Его?

— Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

— Что ты мне, словно девка, все про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

— Не надо бы Олеше ходить на бои.

— Это — чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты — молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

— Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

— Ну, как твои Артамоновы живут? — спрашивали горожане Баймакову.

— Ничего, хорошо.

— Зимой свинья смирна, — заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она

убедилась, что молчаливый, коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.

«Не ласков будет муженек».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу, в сенях, голос дочери:

— Опять на медведя пойдете?

— Собираемся. А что?

— Опасно, Алешу-то задел зверь.

— Сам виноват — не горячись. Значит — думаете обо мне?

— Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма, — подумала мать, улыбаясь и вздохнув. — А он — простак».

Илья Артамонов все настойчивее говорил ей:

— Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и все было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту, — горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщевой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых, светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно-зеленой листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шелковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

— Бог в помощь, — неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

— Спаси бог.

— Это ты сад убрал?

— Я.

— Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а будто не злой», — подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице.

— Извольте принять букет.

— Зачем это? — удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

— Вот как, — сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову: — Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

— Так ведь и вы тоже.

Еще более покраснев, Баймакова подумала:

«Не отец ли научил его?»

— Ну, спасибо за почет, — сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух:

— Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

— Видно,— судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти ее мужа, но решительно заявила свату:

— Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступись от этого дела, дай мне устроить все по-нашему, по-хорошему по-старинному. Это и тебе выгодно

сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

— Ну, — горделиво замычал Артамонов, — меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

— Тебя здесь не любят.

— Ну, бояться станут.

И, ухмыляясь, пожал плечами:

— Вот и Петр тоже все про любовь поет. Чудаки вы...

— Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

— Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

— Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любови...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой: «Экой зверь».

И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчевые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжелом, серебряной парчи сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола,— в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

По лугам, по зелены-им,
По цветам, по лазоревым,
Разлилася вода вешняя,
Студенá вода, ой, мутная...

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

Посылают меня, девицу,
Посылают меня по воду,
Меня босу, необутую,
Ой, нагую, неодетую...

Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

— Это — смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а — кричите: нага, неодета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

— Не жалобно поете, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

— Сказано: «за мужем — как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена — не проломишь, высока — не перескочишь.

Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шелковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается наверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

— Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу — плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом, кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг нее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

— Не порядок это — жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым...

— Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом, — ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, что-

бы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:

— Про тебя был слух, что ты — умная, вот я и молчала. Думала — сама догадаешься. Мне что? Мне — была бы правда сказана, люди не примут, господь зачтет.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

— Господи, — помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы. Никита в двери:

— Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.

— Спасибо, милый...

— На кухне Ольгунька Орлова патокой облилась.

— Да — что ты? Умненькая девчоночка, — вот бы тебе невеста...

— Кто пойдет за меня...

А в саду под липой, за круглым столом, сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, тёмные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

— Обычаи у вас другие, — задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

— Мы жа тут коренной народ. Велика Русь!

— И мы — не пристяжные.

— Обычаи у нас древние...

— Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:

Ой, свату великому,
Да Илье-то бы Васильевичу,
На ступень ступить — нога сломить,
На другу ступить — другá сломить,
А на третью — голова свернуть.

— Вот так честят! — удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну, — Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.

— А ты — слушай! — советует Барский и хохочет.

Того мало свату нашему
Да похитчику девичьему...

— Еще мало? — возбужденно кричит Артамонов, видимо, смущенный, постукивая пальцами по столу.

А девицы яростно поют:

С хором бы тя о́ борону,
Да с горы бы тя о́ каменье,
Чтобы ты нас не обманывал,
Не хвалил бы, не нахваливал
Чужедальние стороны,
Нелюдимые слободы,—
Они горем насеяны
Да слезами поливаны...

— Вот оно к чему! — обиженно вскричал Артамонов.— Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа — в Сейм текут; слава тебе боже, — не в Оку!»

— Ты — погоди, ты еще не знаешь нас,— не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский.— Ну, одари девиц!

— Сколько ж им дать?

— Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

— Широко даешь, бахвалишься!

— Ну и трудно угодить на вас! — тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девишник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

— Народ — терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй все, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а — надо! Алексей пошел девок

провожать? Девкам он — приятен, а парням — нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты — заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

— Всё вылакали; пьют, как лошади. Что думаешь, Петр?

Перебирая в руках шелковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

— В деревне — проще, спокойнее жить.

— Ну... Чего проще, коли день проспал...

— Тянут они со свадьбой.

— Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

— Горько! — в двадцатый раз ревут красные, волосатые рожи с оскаленными зубами.

Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:

— Не умеет парень!

— В губы цель!

— Эх, я бы вот поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

— Я те поцелую!

— Горько! — рычит Барский.

Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, она дрожит, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлян-

ского вина Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

— Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя — в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую, белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:

— Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!

Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном реве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а — суд», — думает он и слышит:

— Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

— Быть еще свадьбе, только — без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем его теле тревожное томленье. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.

— Скоро ли конец этому? — шепчет он, Наталья так же отвечает:

— Не знаю.

— Стыдно...

— Да, — слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей — с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с

улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы — неподвижны! И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, наваляcь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

Эй, девицы-супротивницы,
Хороводницы, затейницы!
У меня ли густо денежки звенят,
Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:

— Степка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

— Мы тебе не курята, а — куряне! И — еще кто кого перепляшет! Олеша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

— Присловья не знает! — крикнули дремовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова:

— Олешка — убью!

Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

У барина, у Мокея,
Было пятеро лакеев,
Ныне барин Мокей
Сам таков же лакей!

— Нате! — победоносно рявкнул Артамонов.

— Ого! — многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою.

— Алексей перепляшет вашего,— сказал Петр Наталье,— она робко ответила:

— Легкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом, один — огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слезы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его почти безумны. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:

— Зубами скрипит. Ударит кого-нибудь сейчас...

— Охально пляшет артамоновский!—слышен трубный голос Матрены Барской.— Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковородка, лицо ее, в широкий нос,— Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идет к двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает:

— Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:

— Что ты! Али мне вместно, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь. Помялов переглянулся с Барской, масляно шипят его слова:

— Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит...

— Грех — на меня! — кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу, — Петр услышал изумленный шопот:

— А, батюшки! Муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

— Не надо бы отцу плясать.

— И матушке не надо бы,— ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

— Тише! — сказал он ласково, поддержав ее за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, во дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось все тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то темным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц все еще, как обожженные, судорожно метались двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился:

— Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала, как пред стеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:

— Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:

— Разводите молодых! Ну-ко, Петр, иди ко мне; дружки,— ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжелые руки на плечи сына:

— Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая во все стороны:

— Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода — во-время, не на беду, на счастье!

Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

— Слушай, да — не забудь! — торжественно говорила она.— Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, ты ей не давай...

— Зачем это? — угрюмо спросил Петр.

— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты — молчи, только в третий раз протяни ей руку, — понял? Ну, потом...

Петр изумленно взглянул в темное, широкое лицо наставницы; раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

— Крику — не верь, слезам — не верь. — Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева,— сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.

— Черти болотные...

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошел к окну, распахнул раму,— из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили черные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль никольской колокольни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока,

кусок луны таял над нею, дальше черными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля, — просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шелк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Петр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

«Молится. А я — не молился».

Но молиться — не хотелось.

— Наталья Евсеевна,— тихонько заговорил он,— вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, он бормотал:

— Ничего этого не надо, сапоги снимать и все. Глупости. У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

— Гуляют еще.

— Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

— Барскую не пускайте,— шепнул Петр.

— Это — матушка, — сказала Наталья, открыв дверь; Петр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:

«Плох я, не смел, посмеется надо мной она, дождусь...»

Дверь открылась. Наталья тихо сказала:

— Матушка зовет.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Петр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шопот Баймаковой.

— Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты — опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя — честная!

Говоря, она одною рукою держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая:

— Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи...

Петр глухо сказал:

— Жалко ее. Боязно.

Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.

— Нет, ты иди-ка, иди, делай свое мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай — поцелую...

Крепко обняв его за шею, дохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

— Выпимши она немножко...

Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

— Не бойся. Я — не красивый, а — добрый...

Прижимаясь к нему все плотнее, она шепнула:

— Ноженьки не держат...

...Пировать в Дремове любили: свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

— Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он таровато одарял девиц лентами и гостинцами, парней — деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

— Эх, люди! Живем али нет?

Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на нее требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного

и троих каменщиков, после этого к нему подошел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

— Теперь со мной.

Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа.

— А ты — кто такое: силен или хвастлив?

— Не знаю,— серьезно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

— Не хитер ты, брат, не хитер!

И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, отирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

— Силен.

— Видим,— ответили ему насмешливо.

— Здоров,— повторил Вялов.

Илья протянул ему руку:

— Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая:

— Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся:

— Кости страдают. Я — сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдем за ними, Никита Ильич, простец!

И, дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам среди пестрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расха-

живая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрене Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

— Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А — зять? Павлином ходит: я — не я, жена — не моя!

Но, уходя к себе спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой все, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

— Ну, и пьют же у вас,— удивлялся Петр.

— А у вас — меньше? — спрашивала жена.

— Разве мужикам можно так пить!

— Не похожи вы на мужиков.

— Мы — дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.

— Что молчишь? — тихонько спрашивала жена, — муж так же тихо отвечал:

— Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

— Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно, должно быть!

— Страхи — в лесах живут,— скучновато сказал Петр.— В степи — какой же страх? Там — земля, да небо, да — я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звездной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий, гневный возглас:

— Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила:

— Это — матушка!

Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

— Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

— Родимый,— не тронь! Пожалей...

Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе.

— Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

— Что это, кто?

— Отец,— сказал Петр, крепко стиснув ее.— Не понимаешь, что ли...

— Ой, как же это? — шептала она со стыдом и страхом; муж отнес ее на постель, покорно говоря:

— Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

— Грех-то какой!

— Не наш грех,— сказал Петр и вспомнил слова отца: «господа то ли еще делают?». — Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики,— просты; для них это «птичий грех» — со снохой баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слезы говорила:

— Еще когда они плясали, так я подумала... Если он — насильно, что же теперь будет у нас?

Но, утомленная волнением, она скоро заснула, не раздеваясь, а Петр открыл окно, осмотрел сад,— там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе...

...Наталья проснулась скоро, ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обида за нее. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это еще более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась...»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорбленную мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава хо-

лодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свекре. Тяжелой рукою он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

— Ну, что — живешь? Дышишь? Ну — живи!

Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее: так ласкают лошадей.

«Разбойник какой»,— подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шелково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щелкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову, — над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

«Кто ж это ловит? Никита?»

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивленно подняв брови, закинув руку за голову.

— Кто... что ты? — тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

— Ничего, вот — смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слез, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

— Комары спать не дают, в амбаре спать буду,— говорила мать, кутая шею простыней.— Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься...

Говорила мать неласково и неохотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

— Я проснулась — подумала о тебе... во сне тебя видела.

— Что подумала? — осведомилась мать, глядя в потолок.

— Вот,— одна ты спишь, без меня...

Наталье показалось, что щеки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: «Я не боязлива»,— улыбка вышла фальшивой.

— Ну, иди, милок твой проснулся, слышишь — топает? — приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у нее, это он квас пил. Шея-то у нее в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А — кричала...»

— Где была? — спросил Петр, зорко всматриваясь в лицо жены, — она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чем-то.

— Смородину собирала, к матери зашла.

— Ну, что же она?

— Ничего будто...

— Так,— сказал Петр, дернув себя за ухо,— так!

И, усмехаясь, потирая темнорыжий подбородок, вздохнул:

— Видно,— правду говорила дура Барская: крику — не верь, слезам — не верь.

Затем он строго спросил:

— Никиту не видела?

— Нет.

— Как же — нет? Вот он — птиц ловит в саду.

— Ой,— пугливо крикнула Наталья,— а я вот так, в одной рубахе, ходила!

— То-то вот...

— И когда он спит?

Петр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

— Ведь — горбат, а приятный... приятнее Алексея...

Муж крякнул еще раз, но — потише.

...Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе,— за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

— Чу, затяпали ни свет, ни заря...

— Жадность — покою лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дремовцы почтительно снимали пред ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

— У нас господа попроще, победнее, а — построже ваших!

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дремова:

— От моего дела всем вам будет выгода.

— Давай бог,— отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнет или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а жолудевые глаза смотрят ехидно.

— Давай бог,— повторяет он,— хотя и без тебя не плохо жили, ну, может, и с тобой так же проживем.

Артамонов хмурится:

— Двоемысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет, кричит:

— Он у нас — такой!

У Барского на месте лица окупю наляпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щеки, руки — весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши — не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

— Вся моя сила в жир пошла,— говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

— Дела делать — надо, а и божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:

— Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа...

— Ну-ну,— останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста,— куда поехал?

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

— Ты мое дело понимаешь?

— Это зачем? — искренно удивлялся Житейкин.— Дело — твое, тебе его и понимать, чудак! У тебя — твое, у меня — мое.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где вбок ей выползала из ельника, из болот, зеленой змеею фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно светится щепа и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и, точно восковой, тает желтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила, — Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним — задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; еще не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан; это — дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора — нет.

Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землей вкусный запах огур-

цов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в темном амбаре, из угла его встречает опасливый шопот:

— Незаметно прошел?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

— Досада это мне, — прятаться! Мальчишка я, что ли?

— А не заводи полюбовницу.

— Рад бы не завел, да господь навел.

— Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идем...

— Ну, ладно! Это — после. Эх, Ульяна, люди тут у вас...

— А ты — полно, не скучай,— шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умен, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.

— Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

— Опоздали, князь леса мне запродал.

Вокруг них, над ними непроницаемо черная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шопотом. Пахнет сеном, березовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

— Экая ты дородная! — восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины.— Экая мощная! Что ж ты родила мало?

— Кроме Натальи, двое было, слабенькие, померли.

— Значит — муж был плох...

— Не поверишь,— шепчет она,— я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я — не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа-то, как

на плаху ложилась на постель. Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал...

Ее рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит:

— Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной, днем — всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум ее и грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал:

— Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться...

— Дети у тебя — хорошие, они и узнают про нас — не беда, а вот если город узнает...

Она вздрогнула всем телом.

— Ну, ничего,— шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

— Скажи-ка: вот — человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил:

— Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударили меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенем по башке, потом — другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

— Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу...

Несколько минут лежал молча.

— Задремал?

— Нет.

— Иди, светать скоро начнет; на стройку пойдешь? Ох, умаешься ты со мной...

— Не бойся,— на будни хватило, хватит и на праздник,— похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идет по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжелою ногой стружку, щепу, думает:

«Олешке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а — хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростертое, большое тело, предупреждают друг друга:

— Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и — не решается.

Муравьиная суета людей, крики, стук не будят большого человека, лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила,— землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщевой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берез, клена, рябины, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной,— это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

— Сады садить — дело безобидное,— говорит он.

Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

Пришел к Марье кум Захарий,
Кулаком Марью по харе...

— Грубо поют,— сказал Петр землекопу Вялову,— тот, стоя по колено в песке, ответил:

— Все едино, чего петь...

— Как это?

— В словах души нет.

«Непонятный мужик»,— подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

— Нет, я не гожусь на это, не умею людями распоряжаться. Ты меня в дворники возьми...

Отец крепко обругал его.

...Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные, растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадьми. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного «для веса» водою, не продали бы простой лен по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:

— Скучно тут жить, не люблю я здешних...

Этим он всегда раздражал Петра.

— Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

— Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьем в руках, садилась у окна, в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, деви-

чий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой — странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной, и обидной, он виновато опускает глаза.

За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рев медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы трепальщицы дробно околачивают лен. Шумно входит Алексей: мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он все-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон Вялов отсек себе палец топором.

— Будто — невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:

— Заехали к чертям на задворки...

Потом требовательно протягивает руку:

— Дай пятиалтынный, я в город иду.

— Зачем?

— Не твое дело.

Уходя, он напевает:

Бежит девка по дорожке,
Тащит милому лепешки...

— Ох, доиграется он до нехорошего! — говорит Наталья. — Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошел, матери — нет у нее, отец — пьяница...

Никите не нравится, как она говорит это, в словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зеленых игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками...

Входит Петр, угрюмый и усталый.

— Чай пить пора, Наталья.

— Рано еще.

— Пора, говорю! — кричит он, а когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь:

— Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду — не знаю. Если у меня не так идет, как надо,— задаст он мне...

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушавшись в его слова.

— Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме...

И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно:

— Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шуму-то было бы меньше, а толку — больше...

Илья Артамонов возвратился домой веселый, помолодевший, он подстриг бороду, еще шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Барином развалясь на диване, он говорил:

— Дела наши должны итти, как солдаты. Работы вам и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!

Пощупал глазами сноху и закричал:

— Пухнешь, Наталья? Родишь мальчика — хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:

— Хорош батюшка, когда веселый.

Муж, искоса взглянув на нее, неласково отозвался:

— Еще бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две-три Артамонов притих, задумался, Наталья спросила Никиту:

— На что батюшка сердится?

— Не знаю. Его не поймешь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчетливо и громко:

— Батюшка,— отдай меня в солдаты.

— К-куда? — заикнувшись, спросил Илья.

— Не хочу я жить здесь...

— Ступайте вон! — приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул ему:

— Стой, Олешка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

— А я думал: вот у меня орел!

— Не приживусь я тут.

— Врешь. Место твое — здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю,— иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

— Не так бы надо говорить с тобой,— со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, еще раз окрикнув его, внушительно добавил:

— Тебе — большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал...

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

— Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросил шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

— Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу,— в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

— Жени его скорей, вот и свяжешь,— сказала она.

— Да, так и надо. Только — это не все. В Петре — задору нет, вот горе! Без задора — ни родить, ни убить. Работает будто не свое, все еще на барина, все еще

крепостной, воли не чувствует, — понимаешь? Про Никиту я не говорю: он — убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал — Алексей вгрызется в дело...

Баймакова успокаивала его:

— Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнет всех — обомнутся.

Они беседовали до полуночи бок о бок в теплой тишине комнаты,— в углу ее колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

— Скуподушные люди.

— Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача — бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

— Я вот одного досмерти боюсь — понести от тебя...

— В Москве дела — огнем горят! — продолжал он, вставая, обняв женщину. — Эх, кабы ты мужиком была...

— Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав ее, он ушел.

...На маслянице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях, оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

— Кто тебя — говори?

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел:

— Добивай...

Испуганная Наталья громко заплакала,— свекор топнул на нее, закричал:

— Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел, и стонал.

Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей все более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

— Неужто не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся темный угрюмый огонь, это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это? — тот ответил:

— Не знаю.

— Врешь!

— Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

— Скрываешь ты что-то,— догадывался Артамонов, Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

— Я — выздоровею.

— Ешь больше! — посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: — За такое дело — красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то...

Он стал еще более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

— Все делайте, ничем не брезгуйте! — поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость,— она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорченно сказал:

— Ну, это что...

— Благодари бога за милость,— строго посоветовала Ульяна,— сегодня день Елены Льняницы.

— Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

— Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

— Получи! Хоть и не парня родила, а — хорошо!

И спрашивал Петра:

— Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Петр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

— Что она молчит? — спросил он тещу.

— Накричалась,— объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет, а потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось — он бегает по кругу, оттого и встречается везде.

— Не разродится, пожалуй,— сказал Петр брату,— горбун, всадив лопату в песок, спросил:

— Что повитуха говорит?

— Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

— Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

— Теща положила мне на руки ребенка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не под-

бросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжелая мука...

Почесывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

— Все человечьи муки из-за малости.

— Как это? — строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

— Да — так как-то...

Из дома позвали ужинать.

Ребенок родился крупный, тяжелый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

— Ну, что ж! — утешал отец Петра на кладбище. — Родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит — якорь брошен глубоко. С тобой — твое, под тобой — твое, на земле — твое и под землей твое,— вот что крепко ставит человека!

Петр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

— Господи, господи...

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим, дерзкие глаза, углубляясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

— Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита с упреком сказал ему: «Зря обижаешь Наташу!» — он ответил:

— Я человек больной.

— Она смирная.

— Ну и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

— Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мертвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся:

— Устроим. Все будет у нас: церковь, кладбище, училище заведем, больницу,— погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человек, в рыженьком, отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но, заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:

— Это что?

— Часовщик Орлов.

— И видно, что Орлов!

— Он — умный, — настойчиво сказал Алексей. — Его — затравили...

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце кленов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел, склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Петр дергал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

— Людей дразнить — вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею.

В городе заныл колокол.

— Набат? Пожар? — спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

— Что ты? Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

— Всё пожары ему чудятся.

— Злой стал,— осторожно заметила Наталья. — А сколько в нем веселья было...

Внушительно, как подобает старшему, Петр упрекнул брата и жену:

— Вы оба глупо глядите на него; ему ваша жалость обидна. Идем спать, Наталья.

Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошел в беседку, где спал на сене, присел на порог ее. Беседка стояла на холме, обложенном дерном, из нее, через забор, было видно темное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нес бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь трут, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:

— Кто идет?

Тишина была натянута над землею туго, точно кожа барабана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно четко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивленные. И легко было выдумывать различные счастливые для него события: вот он нашел богатейший клад, отдал его Петру, а Петр отдал ему Наталью. Или: вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после нее от всего семейства остались в живых только двое:

он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что ее счастье скрыто в его душе.

Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает еще одна, медленно поднимаясь в темносерую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидал: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.

— Пожар! — крикнул Никита,— брат ответил, влезая выше:

— Знаю. Ну?

— Вот — ждал ты,— вспомнил горбун и, удивленный, остановился среди двора.

— Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.

— Надо ткачей будить...

Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая.

— Влезай ко мне,— предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши; горбун покорно полез, говоря:

— Наташа не испугалась бы.

— А ты не боишься, что Петр набьет тебе еще горб?

— За что? — тихо спросил Никита и услыхал:

— Не пяль глаз на его жену.

Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадет, ударится о землю.

— Что ты говоришь? Подумал бы, — пробормотал он.

— Ну, ладно, ладно! Вижу я... Не бойся, — сказал Алексей весело, как давно уже не говорил; он смотрел из-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя ее глухо гудеть, и оживленно рассказывал:

— Это — Барские горят. У них, на дворе, бочек двадцать дегтя. До соседей огонь не дойдет, сады помешают.

«Бежать надо», — думал Никита, глядя вдаль, во тьму, разорванную огнем; там, в красноватом воздухе, стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди,

было даже видно, как они суют в огонь тонкие, длинные багры.

— Хорошо горит, — похваливал Алексей.

«В монастырь уйду», — думал горбун.

На дворе сонно и сердито ворчал Петр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и, точно в раме, в окне дома стояла, крестясь, Наталья.

Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая черные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддевке.

— Куда? — необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал еще свирепей:

— Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо...

Никита прошел в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услыхал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:

— Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а? Убью...

Визгливо ответил Алексей:

— Сам ты меня надоумил.

— Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишен...

Никита встал и тихонько, но поспешно ушел в угол сада, в беседку.

Утром, за чаем, отец рассказывал:

— Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно — помрет. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Степку, был он сердит. Дело темное.

Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал. Отец, заметив его движение, спросил:

— Ты что ежишься?

— Нездоровится.

— Всем вам нездоровится. А я вот здоров...

Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушел.

Дело Артамонова быстро обрастало людями; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие, приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими, ради сохранения тепла, окнами; окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его — «Жеребячий дворец».

Илья Артамонов становился все более хвастливо криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать крестьянам сеять лен по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нем мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодежь:

— Глядите, как дела крутить надо!

А Илья Артамонов учил детей:

— Мужики, рабочие — разумнее горожан. У городских — плоть хилая, умишко трепаный, городской человек жаден, а — не смел. У него все выходит мелко, непрочно. Городские ни в чем точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда-сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он — весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь и все о деле, это — не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо; веселый человек лучше понятен.

— Шутить я не умею, — сказал Петр и по привычке дернул себя за ухо.

— Учись. Шутка — минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.

— Жулики они и лентяи, — задорно отозвался Алексей.

Артамонов строго крикнул:

— Много ли ты знаешь про людей? — Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл ее рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дремовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.

— Погост,— размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья. — Не на свое место слова ставим. Называется — погост, а гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города.

Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью. Но была ясно заметна и разница: отец за все брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекающе:

— Я и еще много знаю; и не то еще могу сказать.

И всегда в его словах слышались Никите какие-то намеки, возбуждавшие в нем досаду на этого человека, боязнь пред ним и — острое, тревожное любопытство к нему.

— Много ты знаешь, — сказал он Вялову, тот не спеша ответил:

— Затем живу. Я знаю — это не беда, я для себя знаю. Мое знатьё спрятано у скупого в сундуке, оно никому не видимо, будь спокоен...

Не заметно было, чтобы Тихон выспрашивал людей о том, что они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтобы Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец, — он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Петр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него все росло

смешанное чувство любопытства к Тихону и страха перед этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:

— А ты все сохнешь. Ты б, чудак, сказал ей, может — пожалеет, она будто добрая.

Горбун остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:

— Про что сказать, кому?

Вялов, взглянув на него, шагнул дальше, Никита схватил его за рукав рубахи, тогда Тихон пренебрежительно отвел его руку.

— Ну, зачем притворяешься?

Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу березу, Никита оглянулся, ему захотелось ударить Тихона по шершавому лицу, хотелось, чтоб он молчал, а тот, глядя вдаль, щурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:

— А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы — любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать — есть ли что слаще сахара? Нашему же брату — много ли надо? Раз, два — вот и сыт и здоров. А ты — сохнешь. Ты — попытайся, скажи, авось она согласится.

Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.

— Ерунду придумал ты, — сказал он.

В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своем и пошел, пристукивая по земле железной лопатой, говоря все так же спокойно:

— Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные. Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.

Испуг Никиты растаял в горячей печали, от нее у него мутилось в глазах, он спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть; он тихонько попросил:

— Ты молчи об этом.

— Я сказал: как в сундуке заперто.

— Забудь. Ей не проговорись.

— Я с ней не говорю. Зачем с ней говорить?

И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал еще более молчалив и незаметен. Но Наталья приметила что-то.

— Ты что грустный ходишь? — спросила она, Никита ответил:

— Дела много, — и быстро отошел прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре года она родила двух девочек и уже снова ходила непорожней.

— Что ты все девок родишь, куда их? — ворчал свекор, когда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался:

— Мне внучат надо, а не зятьев. Разве я для чужих людей дело затеял?

Каждое слово свекра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лежа рядом с ним, она смотрела в окно на далекие звезды и, поглаживая живот, мысленно просила:

«Господи — сыночка бы...»

Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свекру:

«Нарочно, на зло вам буду девочек родить!»

И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех, — хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.

Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила белье на всех, после обеда шла с детьми в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек, Наталья улыбалась, но не верила похвалам, — дети казались ей некрасивыми.

Иногда между деревьями мелькал Никита, един-

ственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал:

— Прости, время нет у меня.

У нее незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтобы следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился; она знала: пожелай красавец деверь, и она не устоит против него. Но он — не желал, он даже не замечал ее; это было и обидно женщине и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.

В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел ее, он ворчал, лежа на кровати:

— Будет. Ложись.

Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Петр шутил:

— Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим нехватит...

Ночью, разбуженная плачем ребенка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свекре, муже, обо всем, что дал ей незаметно прошедший нелегкий день. Было странно не слышать привычных голосов, веселых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, ее пчелиного жужжания; этот непрерывный, торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стеклам окон; шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать.

А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, плененных татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, веселой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.

Свекор смотрел на нее как на пустое место, и это еще было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате, глаз на глаз, он бесстыдно щупал ее острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.

Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на нее так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за ее спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одною рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито, — в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем, и лишь изредка, все реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимою в праздники, на святках и на масляниице, он возил ее кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были желтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал,— Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов еще более напугал ее, сказав:

— Дворянский конь, зол на чужую власть.

Часто приходила мать; Наталья завидовала ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз. Эта зависть становилась еще острее и обидней, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свекор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бедрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотою. Город давно знал о ее связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от нее, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого, темного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.

Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людями и фальшивит; она, видимо, боится Петра и, чтоб он не замечал этого,

говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешептывается о чем-то и часто делает ему подарки; в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая искусно сделанная вещь всех удивила.

— За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят, — объяснила мать. — Когда Алеша женится — дом свой украсит...

«И я бы украсила», — подумалось Наталье.

Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:

— По будням салфеток к столу не давай, от усов, от бород салфетки сразу пачкаются.

На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чем-то нечестном, и предупреждала дочь:

— Ты смотри, не очень привечай его, горбатые — хитрые.

Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить ее, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.

Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает ее о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто, ее влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство ее тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свекра:

— Сватья,— лошадь запрячь?

— Я бы лучше пешочком прошлась.

— Ладно; я тебя провожу.

Муж задумчиво говорит:

— Умный человек теща; ловко она отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать да к нам перебраться.

«Не надо этого»,— хочет сказать Наталья,— но

не смеет и еще больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.

Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани, и, сквозь мягкий шумок фабрики просачиваются спокойные слова дворника:

— Скука — от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука.

«Как верно!» — думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает:

— Заговариваешься ты. А — хороводы, игры? Без людей — веселья нет.

«И это верно»,— удивляясь, соглашается женщина.

Она видит, что все вокруг ее говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твердые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У нее нет таких слов, ей не во что одеть свои думы, и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят ее, она тупеет от них, все чаще думая, с тоской и досадой:

«Глупа я, ничего не знаю, не понимаю...»

— Медведь значит — ведун, ведает, где мед,— бормочет Тихон в кустах малины.

«Так и есть»,— думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил ее любимца: до тринадцати месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчесывая комья густой, свалявшейся шерсти, водил его купать в реку, и медведь так полюбил его, что когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стекла в окне, выламывал

раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую, зубастую пасть, обсасывал липкую, сладкую лапу, его добродушные глазенки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Натальи, вызывая ее играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.

Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз; собралась толпа рабочих и хохотала глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей, на потеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтоб не броситься к нему.

Его посадили на цепь; но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце ее, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул ее в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощения просил у людей, разъяренно кричавших вокруг него. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый, плотничий топор, припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой, медведь рявкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утоптанной земле густокрасные пятна. Жалобно рыча, зверь поставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но еще более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, веселый озорник

деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а ее, Наталью, не видит.

Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость, свекор, похлопывая его по плечу, кричал:

— А — говоришь — больной? Ах, ты...

Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивленно и с досадой спросил ее:

— Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать?

И, как на маленькую, крикнул:

— Перестань, дура!

Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слезы, она вспомнила первую ночь с ним,— какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он еще не бил ее, как бьют жен все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:

— Прости, жалко очень.

— Жалеть надо меня, а не медведя,— ответил он негромко и уже ласковее.

Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:

— Мужик — пчела; мы для мужика — цветы, он с нас мед собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милок. Мужики — всем владычат, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свекор-то на пустом месте настроил...

Илья Артамонов все более бешено торопился развить и укрепить свое дело, он как будто предчувствовал, что срок его — не велик. В мае, незадолго до Николина дня, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котел, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где в нее лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа: котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой; столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берез, пучками первых цветов весны и сами нарядились пестро, как цветы. Хозяин с семьей и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзки-

ми на язык шпульницами, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбужденно:

— Эх, ребята! Али не живем?

Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и еще более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний, солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берез и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи,— весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черемуха и сирень. Все было празднично, все ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.

Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою:

— Глядите,— девяносто лет мне, девяносто с лишком, нате-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил...

— А ласкал кого? — кричал Артамонов в ухо ему, ткач был глух.

— Двух жен, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков,— эко наткал! Вот они, все у тебя живут, вона — сидят...

— Давай еще! — кричал Илья.

— Будут. Трех царей да царицу пережил — нате-ко! У скольких хозяев жил, все примерли, а я — жив! Версты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты — хозяин, ты дело любишь и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук, — катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница: побаловала, да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...

Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:

— Спасибо, робенок! Я тебя управляющим сделаю...

Люди орали, хохотали, а старый пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:

— У него — всё по-своему, всё не так...

Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щек слезы умиления.

— Сколько радости,— сказала ей дочь, она, сморкаясь, ответила:

— Такой уж человек, на радость и создан господом...

— Учись, ребята, как надо с людями жить! — кричал Артамонов детям.— Гляди, Петруха!

После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись; Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, веревки, за ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:

— Он своего добьется! Он? Я зна-аю...

Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка; опутали его веревками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок; котел покачивался, двигаясь вперед, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно пред веселой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котел, напряженно покрикивая:

— Потише, эй, потише!

И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:

— Пошел котел, пошел!

Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой,— Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито обле-

пили тяжелую тушу, пытаясь подсунуть под нее каток, но они уже выдохлись, а котел упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался все глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:

— Молодчики, берись дружней! О-ух...

Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:

— Земли поешь, земли...

Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо:

— Кровь.

Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась, и все его большое, умное тело испуганно сжалось.

— Ушибся? — спросил Никита, схватив его за руку, — отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:

— Пожалуй,— жила лопнула...

— Земли поешь, говорю...

— Отстань,— уйди!

И, снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением:

— Текёт. Где Ульяна?

Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.

— Что такое? — спросил он и пошел к дому, шагая осторожно, как по жердочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце, Никита заметил, что, когда она взглянула на отца, ее красивое лицо странно, точно колесо, все перевернулось направо, потом налево и поблекло.

— Льду давайте,— закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца,

все чаще икая и сплевывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:

— Лед — вода; водой крови не заменить...

— Земли пожевать надо...

— Тихон, скачи за попом...

— Поднимайте, несите,— командовал Алексей; Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть еще острей, запоминая с болезненной жадностью все, что делали люди в тесноте отцовской комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом черном коне, не в силах справиться с ним; конь не шел в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей,— его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажженный в небе солнцем; вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона, и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.

Кто-то кричит:

— Мальчишки, бегом...

На подоконнике, покручивая темную, острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит, не мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:

— Значит — ошибся. Воля божия. Ребята — приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради... Эх! Вышлите чужих из горницы...

— Молчи ты,— протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда.— Нет здесь чужих.

Отец глотает лед и, нерешительно вздыхая, говорит:

— Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой, ну, ничего. Мальчишек! Петруха, Олеша — дружно живите. С народом поласковей. Народ — хороший. Отборный. Ты, Олеша, женись на этой, на своей... ничего!

— Батюшка — не оставляй нас, — просит Петр,

опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:

— Что ты? Не верю я...

Наталья рубит кухонным ножом лед в медном тазу, хрустящие удары сопровождают лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как ее слезы падают на лед. Желтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоях.

Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нем. Баймакова то расчесывает гребнем густые, курчавые волосы Ильи, то отирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву, а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:

— Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своем, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их...

И с великой кипящей тоскою он шептал:

— Эх, ошибся я, господи... Ошибся...

Пришел высокий, сутулый священник с христовой бородкой и грустными глазами.

— Погоди, батя,— сказал Артамонов и снова обратился к детям:

— Ребята — не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр,— ты старший, на тебе ответ за все, слышишь? Уходите...

— Никита,— напомнила Баймакова.

— Никиту — любите. Где он? Идите... После... И Наталья...

Он умер, истек кровью, после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.

Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой,

она молча, без слез, сидела около усопшего, точно замерзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.

Петр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец, и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы псалтыря; Петр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две-три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.

Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадей в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.

— Погоди,— говорила она, и Алексей исчезал потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостливо предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав ее, мать говорила:

— Погоди.

Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться воодушевленной работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего — живет ли горбатый сын? Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил отца, он чувствовал себя налитым мутной тоскою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Теплый сумрак наполнял комнату, в нем колебались желтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шел к потолку, а другой опускался вниз. На стену падал масляный свет луны, в нем китайцы были бойчее, быстрей шли и вверх, и вниз.

Вдруг сквозь однотонный поток слов псалтыря Никита услыхал негромкий настойчивый вопрос:

— Да неужто — помер? Господи?

Это спросила Ульяна, и голос ее прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато:

— Умер, матушка, умер, по воле божией...

Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжелую обиду на монахиню.

У ворот, на скамье, сидел Тихон; отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились невидны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему напоминала жуткого городского дурачка Антонушку: этот лохматый, темнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво:

Хиристос воскиресе, воскиресе!
Кибитка потерял колесо.
Бутырма, бай, бай, бустарма,
Баю, баю, бай, Хиристос.

— Дело-то какое, а? — сказал Тихон и, хлопнув себя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.

— Рано в этом году комар родился,— спокойно продолжал он.— Да вот, комар — живет, а...

Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:

— Да ведь ты убил комара.

И поспешно ушел прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск ее голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в

этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос, и тогда, рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов.

— Вот — крест нательный сняла с него, буду носить.

— Мама, родная, ведь и я тоже одна.

Никита снова поднял голос, чтоб заглушить, не слышать этот влажный шопот, но все-таки вслушивался в него.

— Не стерпел господь греха...

— В чужом гнезде, одна...

— «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?» — старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку: «Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое», и он смущенно чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.

Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему, и каждый из них заглянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голосом сказал Петру:

— Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище, так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?

Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату:

— Гони их!

— Кума,— гудел Барский, налезая на Ульяну.— Как же это? Обидно!

Житейкин допрашивал Петра:

— Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела,— лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?

Он говорил непрерывно, не замечая попыток Петра прервать его речь, а когда Петр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился.

— Так ли, нет ли — хоронить мы приедем.

И всем стало ясно, что он не за тем явился, о чем говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:

— Дурак ты, кум, уйди!

У нее дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:

— Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь...

— Уйдите... господа! — сказал Алексей, указывая на дверь.

Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:

— Память о человеке хотят стереть...

Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:

— Хуже буду, а таким, как эти, — не стану жить! Лучше башку себе разобью.

— Нашли время для торговли,— проворчал Петр, тоже косясь на отца.

Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его:

— А ты что молчишь?

Он был тронут тем, что о нем вспомнили, он был обрадован, что вспомнила Наталья, и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо:

— Что же я... Мы с тобой...

Но женщина задумчиво отошла от него.

На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города, приехал исправник, высокий, худощавый, с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова:

— Покойник был отлично рекомендован мне его сиятельством князем Георгием Ратским и рекомендацию эту совершенно оправдал.

Но вскоре заявил Петру:

— Носить покойников в гору — тяжело!

Сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, встал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих.

День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей; она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой, кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антонушка; круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел:

Хиристос воскиресе, воскиресе,
Кибитка потерял колесо.

Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул:

— Цыц, дурак...

В городе Антонушку не любили, он был мордвин или чуваш, и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозвестником несчастий, и когда, в час поминок, он явился на двор Артамоновых и пошел среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова: «Куятыр, куятыр, — чорт на колокольню, ай-яй, дождик будет, мокро будет, каямас черненько плачет!» — некоторые из догадливых людей перешепнулись:

— Ну, значит, Артамоновым счастья не будет!

Петр уловил этот шопот. А через некоторое время он увидал, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора, и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника:

— Это что будет — каямас? Не знаешь? На. Пошел прочь! Ну, ну — иди...

...Быстро, как осенний, мутный поток с горы, скользнул год; ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно поседела, и на висках у нее вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился Алексей, он стал мягче, ласковее, но в то же время у него явилась неприятная торопливость, он как-то подхлестывал всех веселыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Петра его дерзкое отношение к делу, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого, потом, сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода; кроме часов, подарка Баймаковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки, на стене висела вышитая бисером картина — девичий хоровод. Алексей был бережлив, зачем же он тратит деньги на пустяки? Он и одеваться стал модно, дорого. Холил свою темную, остренькую бородку, брил щеки и все более терял простое, мужицкое. Петр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, он незаметно, недоверчиво присматривался к нему, и недоверие все возрастало.

Петр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая медвежьи глаза, как бы ожидая, что то, к чему он подходит, может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной, тревожной скуки, и в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем, зверь приник, прижался к земле, бросив на нее тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днем окна светятся, как ледяные зубы, зимними вечерами они железные и докрасна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтоб наткать версты полотна, а в чем-то другом, враждебном Петру Артамонову.

В годовщину смерти отца, после панихиды на кладбище, вся семья собралась в светлой, красивой комнате Алексея, он, волнуясь, сказал:

— Отец завещал нам жить дружно; так и надо,— мы тут как в плену.

Никита заметил, что Наталья, сидевшая рядом с ним, вздрогнула, удивленно взглянув на деверя, а тот продолжал очень мягко:

— Но все-таки и при дружбе мешать друг другу мы не должны. Дело — одно для всех, а жизнь у каждого своя. Верно?

— Ну? — осторожно спросил Петр, глядя через голову брата.

— Вы все знаете, что я живу с девицей Орловой, теперь хочу обвенчаться с нею. Помнишь, Никита, она одна пожалела, когда ты в воду упал?

Никита кивнул головою. Он сидел почти впервые так близко к Наталье, и это было до того хорошо, что не хотелось двигаться, говорить и слушать, что говорят другие. И когда Наталья, почему-то вздрогнув, легонько толкнула его локтем, он улыбнулся, глядя под стол, на ее колени.

— Мне она — судьба, я так думаю,— говорил Алексей.— С нею можно жить как-то иначе. Вводить ее в дом я не хочу, боюсь,— не уживетесь с нею.

Ульяна Баймакова, подняв опущенные, тяжелой печалью налитые глаза, помогла Алексею.

— Я ее хорошо знаю, редкая рукодельница. Грамотна. Отца, пьяницу, кормила с малых лет своих и сама себя. Только — характерная; Наталья, пожалуй, не уживется с ней.

— Я со всеми сживаюсь, — обиженно заметила Наталья, а муж, искоса взглянув на нее, сказал брату:

— Это действительно твое дело.

Алексей обратился к Баймаковой, предложив ей продать ему дом:

— На что он тебе?

Петр поддержал его:

— Тебе надо с нами жить.

— Ну, я пойду, обрадую Ольгу,— сказал Алексей.

Когда он ушел, Петр, толкнув Никиту в плечо, спросил:

— Ты что — дремлешь? О чем задумался?

— Алексей хорошо делает...

— Ну? Увидим. А по-твоему, матушка?

— Конечно, хорошо, что он с ней венчается, а как жить будут — кто знает? Она — особенная. Вроде дурочки.

— Спасибо за такую родню,— усмехнулся Петр.

— Может, я и не то сказала, — говорила Ульяна, как будто глядя в темноту, где все спутанно колеблется и не дается глазу.

— Она — хитрая; вещей у отца ее много было, так она их у меня прятала, чтоб отец не пропил, и Олеша таскал их мне, по ночам, а потом я будто дарила их ему. Это вот у него всё ее вещи, приданое. Тут дорогие есть. Не очень я ее люблю, все-таки — своенравна.

Стоя спиною к теще, Петр смотрел в окно, в саду бормотали скворцы, передразнивая все на свете, он вспомнил слова Тихона:

«Не люблю скворцов, — на чертей похожи». Глупый человек этот Тихон, потому и заметен, что уж очень глуп.

Все так же тихо, нехотя и, видимо, сквозь другие думы, Баймакова рассказывала, что мать Ольги Орловой, помещица, женщина распутная, сошлась с Орловым еще при жизни мужа и лет пять жила с ним.

— Он — мастер; мебель делал и часы чинил, фигуры резал из дерева, у меня одна спрятана — женщина голая, Ольга считает ее за материн портрет. Пили они оба. А когда муж помер — обвенчались, и в тот же год она утонула, пьяная, когда купалась...

— Вот как люди любят,— вдруг сказала Наталья.

Неуместные эти слова заставили Ульяну взглянуть на дочь с упреком, Петр усмехнулся, заметив:

— Не про любовь речь шла, а о пьянстве.

Все замолчали. Наблюдая за Натальей, Никита видел, что повесть матери волнует ее, она судорожно щиплет пальцами бахрому скатерти, простое, доброе лицо ее, покраснев, стало незнакомо сердитым.

После ужина, сидя в саду, в зарослях сирени, под окном Натальиной комнаты, Никита услыхал над головою своей задумчивые слова Петра:

— Ловок Алексей. Умен.

И тотчас раздался режущий сердце вой Натальи:

— Все вы — умные. Только я — дура. Верно сказал он: в плену! Это я живу в плену у вас...

Никита замер от страха, от жалости, схватился обеими руками за скамью, неведомая ему сила поднимала его, толкала куда-то, а там, над ним, все громче звучал голос любимой женщины, возбуждая в нем жаркие надежды.

Наталья заплетала косу, когда слова мужа вдруг зажгли в ней злой огонь. Она прислонилась к стене, прижав спиною руки, которым хотелось бить, рвать; захлебываясь словами, сухо всхлипывая, она говорила, не слушая себя, не слыша окриков изумленного мужа, — говорила о том, что она чужая в доме, никем не любима, живет, как прислуга.

— Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чем, навалишься на меня камнем, только и всего! Почему ты не любишь меня, разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи! Гляди, как матушка любила отца твоего, бывало — сердце мое от зависти рвется...

— Вот и люби меня эдак же, — предложил Петр, сидя на подоконнике и разглядывая искаженное лицо жены в сумраке, в углу. Слова ее он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность ее горя и понимал, что это — умное горе. И хуже всего в горе этом было то, что оно грозило опасностью длительной неурядицы, новыми заботами и тревогами, а забот и без этого было достаточно.

Белая, в ночной рубахе, безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая.

— Вот, гляди, как Алексей любит свою... И его любить легко — он веселый, одевается барином, а ты — что? Ходишь ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. С Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда, ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно, хитреца противного...

Никита встал и, наклоня голову, убито пошел в

глубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи.

Петр тоже встал, подошел к жене, схватил ее за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза:

— С Алексеем? — спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлен словами жены, что не мог сердиться на нее, не хотел бить; он все более ясно сознавал, что жена говорит правду: скучно ей жить. Скуку он понимал. Но — надо же было успокоить ее, и, чтоб достичь этого, он бил ее затылок о стену, спрашивая тихо:

— Ты — что сказала, дура, а? С Алексеем?

— Пусти, — пусти — закричу...

Он взял ее другою рукой за горло, стиснул его, лицо жены тотчас побагровело, она захрипела.

— Дрянь, — сказал Петр, тиснув ее к стене, и отошел; она тоже откачнулась от стены и прошла мимо его к зыбке; давно уже хныкал ребенок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Перед ним качался, ползал из стороны в сторону темносиний кусок неба, прыгали звезды. Сбоку, почти рядом, сидела жена, ее можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Ее лицо было тупо, точно одеревенело, но по щекам медленно, лениво текли слезы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную пленку слез в угол, не замечая, что ребенку неудобно сосать ее грудь, горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ, ребенок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой. Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Петр сказал:

— Поправь грудь, не видишь!

— Муха в доме, — пробормотала Наталья. — Муха без крыльев...

— Так ведь и я — тоже один; не двое Петров Артамоновых живет.

Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать, и даже сказана какая-то неправда. А чтоб успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтоб жена сразу поняла ее, подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слеза-

ми, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил:

— У меня — дело! Фабрика — это не хлеб сеять, не картошку садить. Это — задача. А у тебя что в башке?

Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь приблизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно.

— Фабрика, — это не просто, — повторил он, чувствуя, что слова иссякают и говорить ему не о чем. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий, спокойный голос Тихона Вялова.

— Петр Ильич, эй!

— Что надо? — спросил он, подойдя к окну.

— Выдь ко мне, — требовательно сказал дворник.

— Невежа! — проворчал Петр и упрекнул жену: — Вот видишь? И ночью покоя нет, а ты тут раскисла...

Тихон без шапки, мерцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещенный луною, и сказал тихонько:

— Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул...

— Чего? Откуда?

И, точно проваливаясь сквозь землю, Петр опустился на ступень крыльца.

— Да ты не садись, идем к нему, он тебя желает...

Не вставая, Петр шопотом спросил:

— Что же это он? А?

— Теперь — в себе; я его водой отлил. Пойдем-ко...

Подняв хозяина за локоть, Тихон повел его в сад.

— Он в бане приснастился, в предбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того...

Петр прирос к земле, повторив:

— Что же это? С тоски по отце что ли?

Дворник тоже остановился:

— Он до того дошел, что рубахи ее целовать стал...

— Какие рубахи, что ты?

Щупая босыми ногами землю, Петр присматривался к собаке дворника, она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся

идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите.

— Эх, без глаз живете, — проворчал дворник, Петр молчал, ожидая, что еще скажет он.

— Ее рубахи, Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились после стирки.

— Зачем же он... Постой!

Петр толкнул собаку ногою, представив коротенькую, горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху; это было и смешно и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибла, оглушила жгучая догадка; схватив дворника за плечи, он встряхнул его, спросил сквозь зубы:

— Целовались? Видел ты — ну?

— Я — все вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего.

— Врешь?

— Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду.

И, как будто топором вырубая просвет во тьме, Тихон в немногих словах рассказал хозяину о несчастии его брата. Петр понимал, что дворник говорит правду, он сам давно уже смутно замечал ее во взглядах синих глаз брата, в его услугах Наталье, в мелких, но непрерывных заботах о ней.

— Та-ак,— прошептал он и подумал вслух: — Некогда мне было понять это.

Потом, толкнув Тихона вперед, сказал:

— Идем.

Он не хотел принять на себя первый взгляд Никиты и, войдя в низенькую дверь бани, еще не различая брата в темноте, спросил из-за спины Тихона дрогнувшим голосом:

— Что ж ты делаешь, Никита?

Горбун не ответил. Он был едва видим на лавке у окна, мутный свет падал на его живот и ноги. Потом Петр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нем разорвана от ворота до подола и, мокрая, прилипла к его переднему горбу, волосы на голове его тоже мокрые, а на скуле — темная звезда и от нее лучами потеки.

— Кровь? Разбился? — шопотом спросил Петр.

— Нет, это я его маленько ушиб, второпях,— ответил Тихон глупо громко и шагнул в сторону.

Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Петр дергал себя за ухо, жаловался, упрекал:

— Стыдно. Против бога, брат. Эх, ты...

— Знаю! — хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита.— Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я — в монастырь уйду. Слышишь? Всей душой прошу...

Кашлянув со свистом, он замолчал.

Чем-то умиленный, Петр снова начал тихо и ласково упрекать и наконец сказал:

— А насчет Натальи — это, конечно, чорт тебя смутил...

— Ой, Тихон, — воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул. — Ведь просил я тебя, Тихон,— молчи! Хоть ей-то не говорите, Христа ради! Смеяться будет, обидится. Пожалейте все-таки меня! Я ведь всю жизнь богу служить буду за вас. Не говорите! Никогда не говорите. Тихон,— это все ты, эх, человек...

Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая ею, и это было тоже страшно. Дворник сказал:

— Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает...

Все более умиляясь, сам смущенный этим, Петр твердо обещал:

— Крест порукой — она ничего не будет знать.

— Ну — спасибо! А я — в монастырь.

И Никита замолчал, точно уснув.

— Больно тебе? — спросил брат; не получив ответа, он повторил:

— Шею-то — больно?

— Ничего,— хрипло сказал Никита.— Вы — идите...

— Не уходи,— шепнул Петр дворнику, пятясь к двери мимо него.

Но когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно теплые запахи потной земли, его умиленность тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтоб щебень под ногами не

скрипел,— была потребна великая тишина, иначе не разберешься в этих думах. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он — в центре этого круга, один. Словами он думал самое простое:

«Надо, чтоб теща скорее переехала к нам, а Алексея — прочь. Наталью приласкать следует. «Гляди, как любят». Так ведь это он не от любви, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идет в монахи, в людях ему делать нечего. Это — хорошо. Тихон — дурак, он должен был раньше сказать мне».

Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невеселой песни. Жужжали комары. Петр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее изжить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошел до кустов сирени, под окном спальни своей, он долго сидел, упираясь локтями в колена, сжав лицо ладонями, глядя в черную землю, земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться.

«Удивительно, все-таки, как Никита одолел песок. Уйдет в монастырь — садовником будет там. Это ему хорошо».

Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним, точно из земли, поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько:

— Прости Христа ради, что кричала я...

— Ну, что же,— бог простит, я ведь и сам кричал, — великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры.

Он сел, Наталья нерешительно опустилась рядом с ним, надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное, Петр сказал:

— Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило: просто людей нет — все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей не видно.

Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный, деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные, они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть, и ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, кто, следя за его речью, нашептывает:

«Неправду говоришь».

Очень во-время жена, положив голову на плечо его, шепнула:

— Ведь ты мне — на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?

Он тотчас же обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шопот:

— Это — грех, не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет,— без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня, кто тебя пожалеет в тяжелый час?

Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила; погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил:

— Обещал я ему молчать,— не могу!

И торопливо рассказал ей все, что слышал от дворника о Никите.

— Рубахи твои целовал,— в саду сушились,— вот до чего обалдел! Как же ты — не знала, не замечала за ним этого?

Плечо жены под рукою его сильно вздрогнуло.

«Жалеет?» — подумал Петр, но она торопливо, возмущенно ответила:

— Никогда, никакой корысти не замечала! Ах, скрытный! Верно, что горбатые — хитрые.

«Брезгует? Или — притворяется?» — спросил себя Артамонов и напомнил жене:

— Он был ласков с тобой...

— Ну, так что? — вызывающе ответила она.— И Тулун — ласков.

— Ну — все-таки... Тулун — собака.

— Так ты его собакой и приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея — я ведь понимаю! Ох, как он мне противен, как обиден был...

Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху, но мужчине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, он нанес жене последний удар:

— Его Тихон из петли вынул. В бане лежит.

Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом:

— Нет... Что ты? Господи...

«Значит — врала»,— решил Петр, но она, дернув головою так, как будто ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая:

— Что же это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить,— ой, господи, за что? Один брат — в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится, — что же это? Ах, Никита Ильич! Что же это за бесстыдство? Ну — спасибо! Угодил, безжалостный...

Облегченно вздохнув, муж крепко погладил плечо жены.

— Не бойся, никто ничего не узнает. Тихон — не скажет, он ему — приятель, а от нас всем доволен. Никита в монахи собирается...

— Когда?

— Не знаю.

— Ох, скорее бы! Как я с ним теперь?

Помолчав, Петр предложил:

— Сходи к нему, погляди...

Но, подскочив, точно уколотая, жена почти закричала:

— Ой — не посылай, не пойду! Не хочу, боюсь...

— Чего? — быстро спросил Петр.

— Удавленника. Не пойду, что хочешь делай! Боюсь.

— Ну — идем спать! — сказал Артамонов, вставая на твердые ноги.— На сей день довольно помучились.

Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее и что он, Петр Артамонов, человек, каким до сего дня не знал себя,— очень умный и хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу темными мыслями.

— Конечно, ты мне самая близкая,— говорил он жене.— Кто ближе тебя? Так и думай: самая близкая ты мне. Тогда — все будет хорошо...

На двенадцатый день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей, песчаной тропою, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожаным мешком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его: все они, не проспавшись, собрались в обеденной комнате, рядом с кухней, сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Петр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело, раза два он сказал:

— Вот у нас в семье свой молитвенник о грехах наших будет...

Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай, ее маленькие, мышиные уши заметно горели и казались измятыми, она хмурилась и часто выходила из комнаты; мать ее задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках, только Алексей, необычно для него, волновался, спрашивал, подергивая плечами:

— Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне...

Рядом с ним сидела небольшая, остроносенькая девица Орлова и, приподняв темные брови, бесцеремонно рассматривала всех глазами, которые не понравились

Никите,— они не по лицу велики, не по-девичьи остры и слишком часто мигали.

Тяжело было сидеть среди этих людей и боязливо думалось:

«Вдруг Петр скажет всем? Скорее бы отпустили...»

Петр начал прощаться первый, он подошел, обнял и сказал дрогнувшим голосом, очень громко:

— Ну, брат, родной, прощай...

Баймакова остановила его:

— Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться.

Все это было сделано быстро, снова подошел Петр, говоря:

— Прости нас. Пиши насчет вклада, сейчас же вышлем. На тяжелый послух не соглашайся. Прощай. Молись за нас побольше.

Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щеки, она почему-то заплакала; Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза, говоря:

— Ну — с богом. У каждого — своя тропа. Все-таки я не понимаю, как это ты вдруг решился...

Наталья подошла последней, но не доходя вплоть, прижав руку ко груди своей, низко поклонилась, тихо сказала:

— Прощай, Никита Ильич...

Груди у нее все еще высокие, девичьи, а уже кормила троих детей.

Вот и все. Да, еще Орлова: она сунула жесткую, как щепа, маленькую, горячую руку,— вблизи лицо ее было еще неприятней. Она спросила глупо:

— Неужели пострижетесь?

На дворе с ним прощалось десятка три старых ткачей, древний, глухой Борис Морозов кричал, мотая головой:

— Солдат да монах — первые слуги миру, нате-ко!

Никита зашел на кладбище, проститься с могилой отца, встал на колени пред нею и задумался, не молясь,— вот как повернулась жизнь. Когда за спиною его взошло солнце и на омытый росою дерн могилы легла широкая, угловатая тень, похожая формой своей

на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклонясь в землю, сказал:

— Прости, батюшка.

В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло; помолчав, горбун повторил громче:

— Прости, батюшка.

И — заплакал, горько, по-женски всхлипывая, нестерпимо жалко стало свой прежний, ясный и звонкий голос.

Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидал дворника Тихона; с лопатой на плече, с топором за поясом он стоял в кустах у дороги, как часовой.

— Пошел? — спросил он.

— Иду. Ты что тут?

— Рябину выкопать хочу, около сторожки моей посажу, у окна.

Постояли минуту, молча глядя друг на друга. Тихон отвел в сторону тающие глаза свои.

— Шагай, я тебя провожу несколько.

Пошли молча. Первый заговорил Тихон:

— Росы какие сильные. Это — вредные росы, к засухе, к неурожаю.

— Избави бог.

Тихон Вялов сказал что-то неясное.

— Чего? — спросил Никита, несколько испуганный,— он всегда ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу.

— Может — избавит, говорю.

Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить.

— Что ж ты,— не веришь, что ли, в милость божию? — с упреком спросил он.

— Зачем? — спокойно ответил Тихон.— Теперь — дожди нужны. И для грибов росы эти вредные. А у хорошего хозяина все во-время.

Вздохнув, Никита покачал головою.

— Нехорошо как-то думаешь ты, Тихон...

— Нет, я думаю хорошо. Я не глазами думаю.

Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смо-

трел под ноги, на широкую тень свою, Вялов в такт шагам стучал пальцами по дереву топорища.

— Я приду, Никита Ильич, через годок, поглядеть на тебя,— ладно?

— Приходи. Любопытен ты.

— Это — верно.

Он снял шапку, остановился:

— Ну, когда так,— прощай, Никита Ильич! — И, почесывая скулу, он задумчиво прибавил:

— Нравишься ты мне, по душе. Ты — кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты — духовный, душевный...

Бросив палку на землю, встряхнув горбом, чтоб поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво:

— Значит — приду.

— Спасибо.

Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся,— Тихон, сунув шапку подмышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней; тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове.

Издали Тихон стал чем-то похож на дурачка Антонушку. Думая об этом темном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало:

«Хиристос воскиресе, воскиресе,
Кибитка потерял колесо».

II

Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и освятили ее во имя Ильи Пророка. Строили семь лет; виновником медленности этой был Алексей.

— Бог — подождет, ему спешить некуда,— бойко, нехорошо шутил он и дважды израсходовал кирпич для храма, один раз — на третий корпус фабрики, другой — на больницу.

После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамоновы подождали, когда

народ разошелся с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под березами, пошли не спеша домой; торопиться было некуда, торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими назначен в три часа.

День — серенький; небо, по-осеннему, нахмурилось; всхрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер, раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались темненькие фигурки людей, сползая к фабрике; три корпуса ее, расположенные по радиусу, вцепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы.

Алексей, махнув палкой, сказал:

— Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем!

— Огорчился бы, когда царя убили,— ответил, подумав, Петр, не желая поддакивать брату.

— Ну, огорчаться он не очень любил. И жил не царевым умом, своим.

Поглубже натянув картуз, Алексей остановился, взглянул на женщин; его жена, маленькая, стройная, в простеньком, темном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей, одетой в черную, шелковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах; темнолиловая головка красиво прикрывала ее пышные, рыжеватые волосы.

— Хорошеет все жена у тебя.

Петр промолчал.

— А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?

В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога; он шел прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня; упрямый во всем, он хотел заставить брата говорить.

— Теща осталась на могиле поплакать. Все еще помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подождал и проводил ее; она жалуется на одышку, ходить трудно, говорит.

Артамонов-старший негромко и принужденно повторил:

— Трудно.

— Ты — дремлешь? Что — трудно?

— Тихона рассчитать надо,— ответил Петр, глядя вбок, на холмы, сердито ощетиненные елками.

— За что? — удивленно спросил брат.— Мужик честный, аккуратен, не ленив...

— Дурак,— добавил Петр.

Подошли женщины; Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для ее маленького тела, сказала мужу:

— Уговариваю Наташу, чтоб она отдала Илью в гимназию, а она — боится.

Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу; тоном старшей, медленно и в нос, она выговорила:

— А по-моему — гимназия мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймешь.

— Учить всех, учить! — строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину; она всползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо.

Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила:

— Помялов верно говорит: от ученья люди дичают.

— Да,— сказал Петр.

— Вот видите! — удовлетворенно воскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил:

— Надо учить.

Брат и Ольга засмеялись; Наталья упрекнула их:

— Что это вы? Забыли? С панихиды идете.

Взяв ее под руки, они пошли быстрее, а Петр замедлил шаг:

— Я подожду мать.

Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Петр сказал вслух, сам себе, не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел:

— Разрослось дело.

И тотчас услыхал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа:

— Дело, как плесень в погребе,— своей силой растет.

Петр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. Человек работает, дает кусок хлеба не одной сотне людей, день и ночь думает о деле, не видит, не чувствует себя в заботах о нем, и вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе.

Артамонов присел у дороги на старый пень срубленной сосны, подергал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге:

«О душе подумать некогда».

Он услышал странный вопрос:

— Разве душа живет отдельно от тебя?

В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьезно; темненькие глаза ее сияли за стеклами очков ласково.

— Не понимаю,— сказал он.

— А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о сироте-приемыше.

— Не понимаю,— повторил Петр и утратил желание говорить с этой женщиной; очень чужая, мало понятная ему, она все-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой ее скрыта хитрость.

А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно было видеть это скуластое, пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах, эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и все его неуклюжее, коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие; даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон, как машина, и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чем-либо, но и это возбуждало досаду. И все более неприятно было видеть, что человек этот, с каждым годом глубже врастая в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе

жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и обозленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе, а старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери.

Чтоб убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника,— Тихон отрицательно мотал тяжелой головою:

— Не гожусь я для этого. А если надоел тебе,— отдохни, отпусти меня на месяц, я к Никите Ильичу схожу.

Именно так он и сказал: отдохни. Это слово, глупое и дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Петра тревожное подозрение: кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает еще что-то постыдное, он как будто ждет новых несчастий, мерцающие его глаза внушают: «Не трогай меня, я тебе нужен».

Он уже трижды ходил в монастырь: повесит за спину себе котомку и, с палкой в руке, уходит не торопясь; казалось — он идет по земле из милости к ней, да и все он делает как бы из милости.

Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго, невразумительно; всегда думалось, что он говорит не все, что знает.

— Здоров. В почете. За поклоны, за гостинцы — благодарить велел.

— Что ж он говорит? — допытывался Петр.

— А что монаху говорить?

— Ну, все-таки? — нетерпеливо допрашивал Алексей.

— Насчет бога. Погодой интересуется, дожди, говорит, не во-время идут. На комара жалуется; комаров у них там многовато. Про вас спрашивал.

— Что?

— Заботится, жалеет.

— Нас? За что?

— За все. Вот — вы бегом живете, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше.

Алексей хохотал, вскрикивая:

— Экая ерунда!

Зрачки Тихона таяли, глаза пустели.

— Ведь я не знаю, как он думает, я сказываю, что он говорил. Я — простой.

— Да, прост! — насмешливо соглашался Алексей.— Вроде Антона-дурака.

Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом, и стало светлее; из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Петр взглянул на него, ослеп и еще глубже погрузился в думы свои.

Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь тысячу рублей и выговорив себе пожизненно сто восемьдесят в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев.

— Что это за подарки? — ворчал Петр, но Алексей — обрадовался:

— А куда ему деньги? Дармоедам, монахам на жир? Нет, он хорошо решил. У нас — дело, дети.

Наталья даже умилилась.

— Все-таки не забыл он вину свою перед нами! — удовлетворенно сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки.— Вот и приданое Елене.

На душу Петра поступок брата лег тенью,— в городе говорили об уходе Никиты в монастырь зло, нелестно для Артамоновых.

С Алексеем Петр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее легкую часть дела: он ездил на нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники.

— Парадно живут, не хуже дворян.

— Барином жить — просто,— намекал Петр, но, не поняв намека, брат восхищался:

— Домище сгрохает купец, так это — собор! Дети образованные.

Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и ястребиные глаза его блестели весело.

— Ты что все хмуришься? — спрашивал он брата и даже учил: — Дело делать надо шутя, дела скуки не любят.

Петр замечал в нем сходство с отцом, но Алексей становился все более непонятен ему.

— Я человек хворый,— все еще напоминал он, но здоровья не берег, много пил вина, азартно, ночами, играл в карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто — не сам он и не гнездо его. Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до пяти лет, жил только Мирон, неприятный, костлявый мальчишка, старше Ильи на три года. И Алексей, и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам, комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью, и оба они любили дарить ее; Наталье подарили забавный шкаф, украшенный фарфором, теще — большое кожаное кресло и великолепную, карельской березы с бронзой, кровать; Ольга искусно вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки.

— Чудишь ты,— сказал Петр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящиков и затейливой резьбой, но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал:

— Поет! Таким штукам больше не быть, в Москве это поняли!

— Ты бы лучше серебро покупал, у дворян серебра много...

— Дай срок — все купим! В Москве...

Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди, они занимаются не столько делами, как все, поголовно, стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства все, что можно купить, от усадеб до чайных чашек.

Сидя в гостях у брата, Петр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как не понимал он, что нравится ему в Ольге? Рядом с Натальей она казалась горничной, но у нее не было глупого страха перед

керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать ее мягкий голос, и хороши ее глаза; очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и людях она говорит досадно, ребячливо, откуда-то издали; это удивляло и раздражало.

— Что ж у тебя — виноватых нет, что ли? — насмешливо спрашивал Петр, она отвечала:

— Виноватые есть, да я судить не люблю.

Петр не верил ей.

С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл ее тетей и лишь изредка, с легкой досадой, говорил:

— Перестань, тетя, надоело! Я больной человек, меня побаловать не вредно.

— Достаточно избалован, будет уж!

Она улыбалась мужу улыбкой, которую Петр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья — образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов; Наталья неутомимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива.

— Сколько теперь у нас в банке-то? — спрашивала она и тревожилась: — Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы!

Когда она брала в руки деньги, красивое лицо ее становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масляное и едкое. Считая разноцветные, грязные бумажки, она трогала их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под рук ее, как мухи.

— Как вы — доходы-то делите с Алексеем? — спрашивала она в постели, насытив Петра ласками.— Не обсчитывает он тебя? Он — ловкий! Они с женой жадные. Так и хватают все, так и хватают!

Она чувствовала себя окруженной жуликами и говорила:

— Никому, кроме Тихона, не верю.

— Значит, дураку веришь,— устало бормотал Петр.

— Дурак — да совестлив.

Когда Петр впервые посетил с ней нижегородскую ярмарку и, пораженный гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену:

— Каково, а?

— Очень хорошо, — ответила она. — Всего много, и все дешевле, чем у нас.

Затем она начала считать, что следует купить:

— Мыла два пуда, свеч ящик, сахару мешок да рафинаду...

Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты.

— Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них, хорошо ли для ребенка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна!

В такие минуты Петр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленоватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба — жирный, глупый линь.

Наталья все так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись в кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению ее пышным телом. От кожи ее пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копченой рыбы, окорока. Петр нередко и все чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно, ласки ее опустошают его.

— Отстань, устал я,— говорил он.

— Ну, спи с богом,— покорно отзывалась жена и, быстро заснув, удивленно приподнимала брови, улыбалась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею.

В те часы, когда Петр особенно ясно с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать ее в жуткий день рождения первого сына. Мучительно тянулся девятнадцатый час ее страданий, когда теща, испуганная, в слезах привела его в комнату, полную какой-то особой духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искаженные лютой болью

глаза, растрепанная, потная и непохожая на себя, жена встретила его звериным воем:

— Петя, прощай, умираю. Мальчик будет... Петр, прости...

Губы ее, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто не из горла, а из опустившегося к ногам живота, безобразно вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось; она дышала, как уставшая собака, и так же высовывала опухший, изжеванный язык; хватала волосы на голове, тянула их, рвала и все рычала, выла, убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей.

— М-мальчика...

День был ветреный, за окном тряслась и шумела черемуха, на стеклах трепетали тени, Петр увидел их прыжки, услыхал шорох и, обезумев, крикнул:

— Окно занавесьте! Не видите?

И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины:

— И-и-у-у...

А через полтора часа теща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены, Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким, пьяным языком сказала:

— Мальчик. Сын.

Он наклонился, приложил щеку к плечу ее, забормотал:

— Ну, мать, этого я тебе не забуду до гроба, так и знай! Ну, спасибо...

Впервые он назвал ее матерью, вложив в это слово весь свой страх и всю радость; она, закрыв глаза, погладила голову его тяжелой, обессиленной рукою.

— Богатырь,— сказала рябая, носатая акушерка, показывая ребенка с такой гордостью, как будто она сама родила его. Но Петр не видел сына, перед ним все заслонялось мертвым лицом жены, с темными ямами на месте глаз:

— Не умрет?

— Н-ну,— громко и весело сказала рябая акушерка,— если б от этого умирали, тогда и акушерок не было бы.

Теперь богатырю шел девятый год, мальчик был высок, здоров, на большелобом, курносом лице его серьезно светились большие, густосиние глаза,— такие были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился еще сын, Яков, но уже с пяти лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали несколько необычный характер, и это возбуждало у отца чувство, близкое гордости.

Однажды Петр застал сына в сарае, мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки.

— Это что будет?

— Пароход.

— Не поедет.

— У меня — поедет! — сказал сын задорным тоном деда. Петр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал:

«Дедушкин характер».

Илья был непреклонен в достижении своих целей, но все-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и двух колес тачки. Тогда он нарисовал колеса углем на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим белье:

— Эй, бабы! Вытащите, а то утону...

Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлепала, с этого дня он стал смотреть на нее такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестренку Таню. Он был вообще деловой человечек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал:

«Толк будет. Строитель».

Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени, приказывал:

— Расскажи чего-нибудь.

— Некогда мне.

— Мне тоже некогда.

Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги.

— Ну, вот: жили-были мужики...

— Про мужиков я все знаю; смешное расскажи.

Смешного отец не знал.

— Ты поди к бабушке.

— Она сегодня чихает.

— Ну — к матери.

— Она меня мыть будет.

Артамонов смеялся; сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший, легкий смех.

— Тогда я пойду к Тихону,— заявлял Илья, пытаясь соскочить с колен отца, но тот удерживал его.

— А что Тихон говорит?

— Все.

— Что однако?

— Он все знает, он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки...

Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала:

— Не лазай по крышам, уродушкой будешь, горбатым!

Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери:

— Еще я тебе помру, когда бить будешь!

Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся:

— Ты не бей его, а посылай ко мне.

Сын пришел, встал у косяка двери, заложив руки за спину: не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Петр спросил:

— Ты что это матери грубишь?

— Я не дурак, — сердито ответил сын.

— Как же не дурак, если грубишь?

— Так она — дерется. Тихон сказал: только дураков бьют.

— Тихон? Тихон сам...

Но Петр почему-то остерегся назвать дворника дураком; он шагал по комнате, присматриваясь к человеку у двери, не зная — что сказать?

— Ты вот тоже брата Якова бьешь.

— Он — дурак. Ему — не больно, он толстый.

— Что же: толстый, так — надо бить?

— Он жадный.

Петр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой, вихрастой головою. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных, синих глаз. И солнце мешало; всегда выходило как-то так, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Петр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова и они не доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть, это Петр Артамонов тоже хорошо знал.

Второй сын Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слезы, пыхтел, надувая щеки, и тыкал кулаками в глаза свои. Он был труслив, много и жадно ел и, отяжелев от еды, или спал, или жаловался:

— Мама, мне скушно!

Дочь Елена приезжала домой только летом, она была какая-то чужая барышня.

Семи лет Илья начал учиться грамоте у попа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по псалтырю, а по книжке с картинками «Родное слово», сказал отцу:

— Я не стану учиться, у меня язык болит.

Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил:

— Паша Никонов учится по родному, а я по чужому.

Но иногда этот очень живой мальчик, запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под сосною, бросая сухие шишки в мутнозеленую воду реки Ватаракши.

«Скучает»,— догадывался отец.

Он тоже недели и месяцы жил оглушенный шумом дела, кружился, кружился и вдруг попадал в густой туман неясных дум, слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его: заботы о деле или же

скука от этих, в сущности, однообразных забот? Часто в такие дни он натыкался на человека и начинал ненавидеть его за косой взгляд, за неудачное слово; так, в этот серенький день, он почти ненавидел Тихона Вялова.

Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая:

— Мы, Вяловы, большая семья...

— Что же ты со своими не живешь? — спросил Петр, подходя к Баймаковой, взяв ее под локоть; Тихон замолчал, отшагнул в сторону; Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил:

— Да уже нет их никого, своих-то, всех извели.

— Что значит — извели? Кто извел?

— Двоих братов под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились; отец — тоже причастный бунту — с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Потом было еще двое у матери, от другого мужа, Вялова, рыбака, я да брат Сергей...

— А где брат? — спросила Ульяна, мигая опухшими от слез глазами.

— Его убили.

— Рассказываешь ты, как поминанье читаешь, — сердито сказал Артамонов.

— Это Ульяне Ивановне любопытно... Приуныла она маленько, вот я и...

Не кончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча.

— А кто убил брата? — вдруг спросил Артамонов.

— Кто убивает? Человек убивает, — спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила:

— Молния тоже...

...В середине лета наступили тяжелые дни, над землей, в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина; всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой, горячий ветер, лю-

то шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю, рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землей вместе со стружкой, кострикой, перьями кур; толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, еще жарче раздувая пожары.

На фабрике было много больных; Артамонов слышал, сквозь жужжание веретен и шорох челноков, сухой, надсадный кашель, видел у станков унылые, сердитые лица, наблюдал вялые движения; количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже; сильно возросли прогульные дни, мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Веселый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребенка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок.

— Гулянье надо устроить, — настаивал Алексей,— повеселить надо, подбодрить народ!

Уезжая с женою на ярмарку, он еще раз посоветовал:

— Устрой гулянье — оживут люди! Ты — верь: веселье — от всех бед спасенье!

— Займись,— приказал Петр жене.— Получше сделай, пообильнее.

Наталья недовольно заворчала, он сердито спросил:

— Ну?

Протестующе громко высморкав нос в край передника, жена ответила:

— Слышу.

Гулянье начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб; он стал еще более худ и сух; надтреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил; серые лица чахоточных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели; многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди, вслед за ним, тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое, лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его.

После молебна бабы вынесли на улицу поселка столы, и вся рабочая сила солидно уселась к деревянным чашкам, до краев полным жирной лапшою с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось десять человек, на каждом столе стояло ведро крепкого, домашнего пива и четверть водки; это быстро приподняло упавших духом, истомленных людей. Тишина, горячей шапкой накрывшая землю, всколебалась, отодвинулась на болота, к лесным пожарам, поселок загудел веселыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодежи.

За сытным, обильным обедом сидели часа три; потом, разведя пьяных по домам, молодежь собралась вокруг чистенького, аккуратного плотника Серафима. Его синяя пестрядинная рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми, пьяненькое, розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глазки. В этом веселом делателе гробов было, соответственно имени его, что-то небесно-радостное, какой-то легкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны темными пальцами, изогнутыми точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих, с нарочитой заунывностью и гнусаво, в нос:

А и вот вам, люди, оказ на забаву
Да премудрости вашей на разгадку!

И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида, грудастая, красивая, с дерзкими глазами, он завел еще более высоко и уныло:

Да, вот, сидит Христос в светлом рае,
Во душистой, небесной прохладе,
Под высокой, златоцветной липой,
Восседает на лыковом престоле.
Раздает он серебро и злато,
Раздает драгоценное каменье,
Все богатым людям в награду,
За то, что они, богатеи,
Бедному люду доброхоты,
Бедную братию любят,
Нищих, убогих сыто кормят.

Он снова подмигнул девкам и вдруг перевел голосишко на плясовой лад, а дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон.

А кто серебро возьмет,—
Тому ноги отшибет!
А кто золото возьмет,—
Того пламенем сожжет!
А яхонты, жемчуга
Все бельмами на глаза!..

Звон гусель и веселую игру песни Серафима заглушил свист парней; потом запели плясовую девки и бабы:

С моря быстрые кораблики бегут,
Красным девушкам подарочки везут!

А Зинаида, притопывая, подпевала пронзительно:

От Пашки — Палашке
Рогож на рубашки;
От Терешки — Матрешке
Две березовы сережки.

Илья Артамонов сидел на штабеле теса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая, лысоватая голова, а на сером, нездоровом лице жадно бегали серые, боязливые глазки. Илье очень нравился голубой старичок, было приятно слушать игру гусель и задорный, смешной голос Серафима, но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачовой кофте и все разрушила, вызвав буйный свист, нестройную, крикливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал:

— Зинаидка — распутная, со всеми живет. И с твоим отцом тоже, я сам видел, как он ее тискал.

— Зачем? — недогадливо спросил Илья.

— Ну, знаешь!

Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц, и ему было досадно, что он спросил об этом товарища.

— Врешь, — сказал он брезгливо и не слушая шопот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях, а Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил обо всем, точно братишка Яков, — как будто жалуясь на всех людей.

Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там, в саду, пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов, лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расползалась улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи.

Илья сел рядом с отцом, не веря, чтоб этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную, морозную ночь.

— В поселок-то пойдем? — спросила мать.

— Да; пойду оденусь, — сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому; спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце.

— Ты что? — ласково спросил отец, — сын тоже спросил, глядя в глаза его:

— Ты Зинаиду тискал или не тискал?

Илье показалось, что отец испугался; это не удивило его, он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот — сейчас боится. И, чтоб ободрить испуганного человека, он сказал:

— Я — не верю, я только спрашиваю.

Отец толкнул его в сени и, затолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам

стал, посапывая, шагать из угла в угол, так шагал он, когда сердился.

— Поди сюда,— сказал Артамонов старший, остановясь у стола, младший Артамонов подошел.

— Ты что сказал?

— Это Павлушка говорит, а я не верю.

— Не веришь? Так.

Петр выдул из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьезное, неласковое лицо. Он дергал себя за ухо, соображая: хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он, не верит и, видимо, утешает его этим неверием? Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное — бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дергая их, начал бормотать:

— Не слушай дураков, не слушай!

И, оттолкнув, приказал:

— Ступай. Сиди в своей горнице. И — сиди там. Да.

Сын пошел к двери, склонив голову набок, неся ее, как чужую, а отец, глядя на него, утешал себя:

«Не плачет. Я его — не больно».

Он попробовал рассердиться:

— Ишь ты! Не верю! Вот я тебе и показал.

Но это не заглушало чувства жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою.

«Впервые побил, — думал он, неприязненно разглядывая свою красную, волосатую руку. — А меня до десяти-то лет, наверно, сто раз били».

Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобное капле жира в мутной воде, послушав зовущий шум в посёлке, Артамонов неохотно пошел смотреть гулянье и дорогой тихонько сказал Никонову:

— Пасынок твой моему Илье глупости внушает...

— Я его выпорю, — с полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик.

— Ты ему придержи язык, — добавил Петр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегченно думая: «Вот как просто».

Поселок встретил хозяина шумно и благодушно; сияли полупьяные улыбки, громко кричала лесть; Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых онучах, перевязанных, по-мордовски, красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну:

Ой, кто это идет?
Это — сам идет!
А кого же он ведет?
Самое ведет!

Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил:

— Мы тобой довольны. Мы — довольны.

Другой старик, Мамаев, кричал с восторгом:

— У Артамоновых забота о людях барская!

А Никонов говорил Коптеву так, что все слышали:

— Благодарный народ, умеет ценить благодетелей своих!

— Мама, меня толкают! — жаловался Яков, одетый в рубаху розового шелка, шарообразный; мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала:

— Ты гляди, как старичок пляшет...

Голубой плотник неутомимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки:

Эх, притопывай, нога!
Притопывай чаще!
Лапоть легче сапога,
Баба — девки — слаще!

Артамонов не впервые слышал похвалы ему, он имел все основания не верить искренности этих похвал, но все-таки они его размягчали; ухмыляясь, он говорил:

— Ну, ладно, спасибо! Ничего, живем дружно.

И думал:

«Жаль, не видит Илья, как чествуют отца».

У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей; подумав, дернув себя за ухо, он сказал:

— Детскую больницу надо вдвое расширить.

Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него.

— Слышали? Валяй — ура, хозяину!

Недружно, но громко люди рявкнули ура; растроганная, окруженная бабами, Наталья сказала в нос, нараспев:

— Подите, бабы, возьмите еще бочонка три пива, Тихон выдаст, подите!

Это еще более усилило восхищение баб; а Никонов, качая головой, умиленно говорил:

— Архиерейская встреча...

— Ма-ам, — мне жарко, — мычал Яков.

Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый, с огромными, как сливы, глазами, кочегар Волков; он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребенка, с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать:

— Как быть-то? Жена скончалась. От жары скончалась, ау! Вот — прирост остался, — как быть?

Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы; отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили как будто извиняясь:

— Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была. Чахоточная. Да он и сам нездоровый.

— Возьмите младенца-то у него, — сердито посоветовал Артамонов, и тотчас же к раскисшему тельцу ребенка протянулось несколько пар бабьих рук, но Волков крепко выругался и убежал.

В общем все было хорошо, пестро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью:

«Растет число народа. Видел бы отец...»

Вдруг жена пожалела:

— Не во-время наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе.

Артамонов промолчал, взглянув исподлобья на Зинаиду, она шла впереди десятка девиц и пела неприятным, низким голосом:

Ходит мимо,
Смотрит мило,
Видно, хочет,
Ах, полюбить!

«Халда, — подумал он. — И песня плохая».

Вынул часы, посмотрел на них и зачем-то солгал:

— Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея.

Он пошел быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну, придумал что-то очень строгое и достаточно ласковое, но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, все забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник, он смотрел в багрово-дымное небо; сумрак наполнял маленькую комнату бурой пылью; на стене, в большой клетке, возился дрозд: собираясь спать, чистил свой желтый нос.

— Ну что, сидишь?

Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула.

— То-то вот! Слушаешь всякую дрянь.

Сын стоял, наклонив голову, отец понял, что он делает это нарочно, чтоб напомнить о трепке.

— Зачем гнешься? Держи голову прямо.

Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жердочкам, негромко посвистывая.

«Сердится», — подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку.— Пустяки слушать не надо.

Илья спросил:

— А как же, когда говорят?

Его серьезный, хороший голос обрадовал отца, Петр заговорил более ласково и храбро:

— Говорят, а ты — не слушай! Ты — забывай. Скажут при тебе пакость, а ты — забудь.

— Ты забываешь?

— Ну, а как же? Если б я помнил все, что я слышу, чем бы я стал?

Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще, отлично понимал, что все они не нужны, и, быстро запутавшись в темной мудрости простых слов, сказал, вздохнув:

— Поди ко мне.

Илья подошел осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся.

— Ты что капризничаешь? Погляди на меня.

Илья взглянул прямо в глаза, но это вышло еще хуже, потому что он спросил:

— За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке.

Артамонов старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом встал вровень с ним, сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя.

«Не по возрасту обидчив», — мельком подумал он и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою:

— Я тебя — не больно. Надо учить. Меня отец бил ой-ёй как! И мать. Конюх, приказчик. Лакей-немец. Еще когда свой бьет — не так обидно, а вот чужой — это горестно. Родная рука — легка!

Шагая по комнате, шесть шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит еще что-нибудь.

— Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо, — бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати. — Учить надо тебя. В губернию надо. Хочешь учиться?

— Хочу.

— Ну, вот...

Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить: ласкали его отец и мать после того, как, бывало, обидят?

— Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то.

— Его никто не любит.

— И не за что, такого гнилого.

Сойдя к себе, стоя пред окном, Артамонов задумался: нехорошо у него вышло с сыном.

«Избаловал я его. Не боится он».

Со стороны поселка притекал пестрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот четко прозвучали слова Тихона:

— Что ж ты дома, дитя? Гулянье, а ты — дома? Учиться поедешь? Это хорошо. «Неученый — что нерожёный», вот как говорят. Ну, мне без тебя скушно будет, дитя.

Артамонову захотелось крикнуть:

«Врешь, это мне будет скучно! Ишь, ластится к хозяйскому сыну, подлая душа»,—подумал он со злостью.

Отправив сына в город, к брату попа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Петр действительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада; к синеватому огоньку ее Петр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонек, почему-нибудь, угасал.

Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память; нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову.

— Ты что ж это как озоруешь? — спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил набок, и Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек.

«Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня?»

Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своем отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему.

«Что ж я, добрее отца?» — спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная — добрый он или злой? Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, нападая во время работы. Дело шумно росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянного напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье — деловые думы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтобы вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сы-

ну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его.

— Тятя, купи мне козла, — просил Яков; он всегда чего-нибудь просил.

— Зачем козла?

— Я буду верхом кататься.

— Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.

— А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший...

Отец думал:

«Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал: расскажи про ведьму».

Не нравилось ему, что Яков, сам раздразнив фабричных ребятишек, жаловался:

— Обижают.

Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в поселке, а этот труслив, ленив, всегда что-то сосет, жует. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее: за чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожглась кипятком.

— А я видел, что прольешь, — широко улыбаясь, похвастался Яков.

— Видел, а — молчал; это нехорошо, — заметил отец. — Вот мать ноги обварила.

Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то во дворе, захлебываясь словами:

— Я видел, что он его бить хочет; идет, идет, подошел да сзади ка-ак даст!

Выглянув в окно, Артамонов увидал, что сын, размахивая кулаком, возбужденно беседует с дрянненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запретил ему дружить с Никоновым, хотел сказать что-то поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына:

— Иди, пустоглазый...

Осторожно, как по скользкому, Яков пошел, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нес на них что-то неудобное, тяжелое.

«Неуклюж. Глуповат», — решил отец.

В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила лежать, читая книжки, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху; поджимала туго налитые кровью, очень красные губы и часто, не подобающим девчонке тоном, говорила матери:

— Теперь так не делают. Это уже вышло из моды.

Когда отец сказал ей: «Ты что же, ученая, не взглянешь, как тебе на рубахи полотно ткут?» — она ответила:

— Пожалуйста.

Надела праздничное платье, взяла зонтик, подарок дяди Алексея, и, покорно шагая вслед за отцом, внимательно следила: не задеть бы платьем за что-нибудь. Несколько раз чихнула, а когда рабочие желали ей доброго здоровья, она, краснея, молча, без улыбки на лице, важно надутом, кивала им головою. Отец рассказывал ей о работе, но, скоро заметив, что она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчал, почувствовав себя обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу. Выйдя из ткацкой на двор, он все-таки спросил:

— Ну что?

— Пыльно очень, — ответила она, осматривая свое платье.

— Немного видела, — усмехнулся Петр и с досадой закричал:

— Да что ты все подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток.

Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато:

— Маслом очень пахнет.

Его особенно раздражали эти ее два пальчика, и Артамонов ворчал:

— Гляди, двумя-то пальцами не много возьмешь!

В ненастный день, когда она читала, лежа на диване, отец, присев к ней, осведомился, что она читает?

— Об одном докторе.

— Так. Наука, значит.

Но заглянув в книгу, возмутился:

— Что же ты врешь? Это — стихи. Разве науку стихами пишут?

Торопливо и путанно она рассказала какую-то сказку: бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору чорта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это мешало понимать.

— Доктор — пьяница был?

Он видел, что его вопрос сконфузил Елену, и, уже не слушая ее пояснений, сказал, сердясь:

— Путаница какая-то. Басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга?

— Механик дал.

Петр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми глазами кошки на что-то впереди себя, и нашел нужным предупредить дочь:

— Коптев тебе не пара, ты с ним не очень хихикай.

Да, Елена и Яков были скучнее, серей Ильи, он все лучше видел это. И не заметил, как постепенно на месте любви к сыну у него зародилась ненависть к Павлу Никонову. Встречая хилого мальчика, он думал: «Из-за такого паршивца...»

Мальчик был физически противен ему. Ходил Никонов согнув спину, его голова тревожно вертелась на тонкой шее; даже когда мальчик бежал, Артамонову казалось, что он крадется, как трусливый жулик. Он много работал, чистил сапоги и платье вотчима, колол и носил дрова, воду, таскал из кухни ведра помой, полоскал в реке пеленки своего брата. Хлопотливый, как воробей, грязненький, оборванный, он заискивающе улыбался всем какой-то собачьей улыбкой, а видя Артамонова, еще издали кланялся ему, сгибая гусиную шею, роняя голову на грудь. Артамонову почти приятно было видеть мальчика под осенним дождем или зимою, когда Павел колол дрова и грел дыханием озябшие пальцы, стоя, как гусь, на одной ноге, поджимая другую, с которой сползал растоптанный, ды-

рявый сапог. Он кашлял, хватаясь синими лапками за грудь, извиваясь штопором.

Узнав, что мальчик держит на чердаке бани две пары голубей, Артамонов приказал Тихону выпустить птиц и следить, чтоб мальчишка не лазил на чердак.

— Упадет с крыши, разобьется. Вон какой он гнилой.

Как-то вечером, войдя в контору, он увидал, что этот мальчик выскабливает с пола ножом и смывает мокрой тряпкой пролитые чернила.

— Кто пролил?

— Отец.

— А не ты?

— Ей-богу — не я!

— А отчего морда оплакана?

Стоя на коленях, подставив голову под удар, Павел не ответил, тогда Артамонов, придавив его взглядом, удовлетворенно сказал:

— Так тебе и надо.

Но вдруг, на минуту прозрев, он усмехнулся в бороду, почувствовав, как ребячлива и смешна эта неприязнь к ничтожному мальчишке.

«Эко, чем забавляюсь!» — снисходительно подумал он и бросил на пол тяжелый медный пятак.

— На, купи себе пряников.

Мальчик так осторожно протянул грязные косточки своих пальцев к монете, точно боялся, что медь обожжет.

— Бьет тебя вотчим?

— Да.

— Ну, что ж? Всех бьют,— утешал Артамонов. А через несколько дней Яков пожаловался, что Павлушка чем-то обидел его, и Артамонов старший, не веря сыну, уже только по привычке, посоветовал конторщику:

— Ты пори пасынка.

— Я порю-с,— почтительно уверил Никонов.

Летом, когда Илья приехал на каникулы, незнакомо одетый, гладко остриженный и еще более лобастый,— Артамонов острее невзлюбил Павла, видя, что сын упрямо продолжает дружиться с этим отрепышем, хи-

ляком. Сам Илья тоже стал нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого отчаяния, раздражал чем-то сестру так, что она швыряла в него книгами, и вообще вел себя сорванцом.

— Я говорила! — жаловалась Наталья мужу.— И все говорят: ученье ведет к дерзости.

Артамонов молчал, тревожно наблюдал за сыном, ему казалось, что хотя Илья озорничает много, но как-то невесело, нарочно. На крыше бани снова явились голуби, они, воркуя, ходили по коньку, а Илья и Павел, сидя у трубы, часами оживленно болтали о чем-то, если не гоняли голубей. Еще в первые дни по приезде сына отец предложил ему:

— Ну, рассказывай, как живешь; я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь.

Илья очень кратко и торопливо рассказал что-то неинтересное о том, как мальчики дразнят учителей.

— А зачем дразнить?

— Надоедают,— объяснил Илья.

— Так. Это будто не ладно. Учиться трудно?

— Нет, легко.

— Врешь?

— Посмотрите отметки,— сказал Илья, дернув плечом, а глаза его пристально смотрели в сад, в небо. Отец спросил:

— Чего ты там видишь?

— Ястреб.

Артамонов старший вздохнул.

— Ну, беги, гуляй. Скучно со мной, видать.

Оставшись один, он вспомнил, что и ему в детстве почти всегда было или скучно или боязно, когда отец говорил с ним.

— Учителей дразнит. Мне эдакое и в лоб не влетало, когда дьячок учил меня ременной плетью. Для детей житьишко будто мягче стало.

Перед отъездом в город Илья попросил — это была его единственная просьба:

— Папаша, позвольте Павлу держать голубей на чердаке, в бане...

Ничего не обещая, отец сказал:

— Всех, кому плохо, не утешишь.

— Значит — можно,— решил сын.— Я скажу ему — обрадуется.

Артамонов старший был обижен тем, что сын, заботясь о радостях какого-то дрянненького мальчишки, не позаботился, не сумел внести немножко радости в жизнь отца. И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым еще более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что, когда дома, на фабрике или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь,— в центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный, грязненький мальчик и как будто приглашал вешать на его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос, как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертенком, все чаще попадался на глаза.

В ласковый день бабьего лета Артамонов, усталый и сердитый, вышел в сад. Вечерело; в зеленоватом небе, чисто выметенном ветром, вымытом дождями, таяло, не грея, утомленное солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья, печальный, мягкий шорох плыл по саду; за деревьями ворчала фабрика, серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтоб не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошел в противоположный угол сада, к бане; дверь в нее была не притворена.

«Этот — там».

Осторожно заглянув в предбанник, он увидал в углу его, в тени, на лавке распластанную фигурку своего врага,— склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове, Илье и в испуге, с отвращением, зашипел:

— Ты что делаешь, паршивый?

Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась, он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека,— Артамонов с наслаждением ударил

его правой ногою в грудь и остановил; мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок.

Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья, тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко:

— Ну, вставай, идем!

Мальчик лежал, выбросив одну руку вперед, другую придавив коленом, одна нога его казалась намного короче другой, он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукою за косяк, снял картуз и подкладкой его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб.

— Вставай, я никому не скажу,— сказал он шопотом, уже понимая, что убил мальчика, видя, что из-под щеки его, прижатой к полу, тянется, извиваясь, лента темненькой крови.

«Убил»,— мысленно произнес Петр. Немудрое, коротенькое слово звучало оглушительно. Артамонов сунул картуз в карман поддевки, перекрестился, тупо глядя на маленькое жалобно скорченное тело; испуганно билась нехитрая мысль.

«Скажу, что нечаянно. Дверью ушиб. Дверью. Дверь — тяжелая».

Он повернулся и грузно присел на лавку,— сзади его стоял Тихон с метлою в руках, смотрел жидкими глазами на Никонова и раздумчиво чесал каменную скулу свою.

— Вот,— громко начал Артамонов, держась руками за край лавки, но Тихон, качнув головою, перебил его:

— Слабый мальчонко, неловок. Сколько раз я увещал его — не лазь!

— Чего? — со страхом, но и с надеждой спросил Петр.

— Разобьешься, говорю. И ты, Петр Ильич, предвещал это, помнишь? Всякая охота требует ловкости. Без памяти, что ли?

Присев на корточки, дворник пощупал руку Павла, шею, потрогал пальцем щеку, и, отирая палец о фартук, шаркая им, точно спичку зажигал, он сказал:

— Пожалуй — совсем отошел. Гниленький был, много ли надо?

Говорил Тихон спокойно, двигался медленно и весь был такой, как всегда, но хозяин не верил ему и ждал каких-то грозных, осуждающих слов. Однако Тихон, взглянув на потолок в квадрат, вырезанный в нем, послушав воркованье голубей, снова заговорил спокойно и просто:

— Он по двери лазил; одну ногу поставит на лавку, другую на скобку двери, потом на верх ее, оттуда схватится руками за край и подтянется на руках-то. А ручонки — без силы, вот и сорвался да, видать, об угол двери сердцем и угодил.

— Я этого не видал,— сказал Петр. Чувство самосохранения подсказывало ему быстренькие догадки:

«Врет? Фальшивит? Капкан ставит мне, в руки взять хочет? Или в самом деле не догадался, дурак?»

Последнее было вероятнее. Тихон вел себя глупо; качнув головою, точно ударив лбом кого-то, он вздохнул:

— Эх, соринка! И зачем такие? Пойду, скажу матери. Вотчим, поди-ко, не больно горевать станет, мальчонко был лишний ему.

Артамонов очень подозрительно вслушивался в слова дворника, пытаясь уловить в них фальшь, но Тихон говорил, как всегда, тоном человека, чуждого любопытству.

— Чу! — сказал он, пошевелив бровями, прислушиваясь: где-то на дворе женщина сердито кричала:

— Пашка! Пашка-а...

Тихон погладил скулу.

— Вот те и Пашка! Готовь слезы...

«Нет,— дурак»,— решил Артамонов и, вытащив из кармана картуз, пошел в сад, внимательно рассматривая сломанный козырек.

Недели две, три он прожил, чувствуя, что в нем ходит, раскачивает его волна темного страха, угрожая

ежедневно новой, неведомой бедою. Вот сейчас откроется дверь, влезет Тихон и скажет:

«Ну, я, конечно, знаю...»

Но внешне все шло хорошо; все отнеслись к смерти мальчика деловито и просто, покорные привычке родить и хоронить. Никонов повязал желтую шею свою новым, черным галстуком, и на смытом лице его явилась скромная важность, точно он получил награду, давно заслуженную им. Мать убитого, высокая, тощая, с лошадиным лицом, молча, без слез, торопилась схоронить сына,— так казалось Артамонову; она все оправляла кисейный рюш в изголовье гроба, передвигала венчик на синем лбу трупа, осторожно вдавливала пальцами новенькие рыжие копейки, прикрывавшие глаза его, и как-то нелепо быстро крестилась. Петр подметил, что рука у нее до того устала, что за панихидой мать дважды не могла поднять руку,— поднимет, а рука опускается, как сломанная.

Да, с этой стороны все обошлось гладко; Никоновы даже многословно и надоедливо благодарили за пособие на похороны, хотя Артамонов, опасаясь возбудить излишней щедростью подозрения Тихона, дал немного. Ему все-таки не верилось, что дворник так глуп, каким он показал себя там, в бане. Вот уже второй раз баня выдвигает этого человека на первое место, все глубже втискивая его в жизнь Петра. Это — странно и жутко. Артамонов даже думал, что баню надо поджечь или сломать, распилить на дрова, кстати она уже стара и гниет. Надо построить другую и на ином месте.

Зорко наблюдая за Тихоном, он видел, что дворник живет все так же, как-то нехотя, из милости и против воли своей; так же малоречив; с рабочими груб, как полицейский, они его не любят; с бабами он особенно, брезгливо груб, только с Натальей говорит как-то особенно, точно она не хозяйка, а родственница его, тетка или старшая сестра.

— Ты что больно ласкова с Тихоном? — не раз допытывался он, жена отвечала:

— Уж очень он прижился к нам.

Если б дворник имел друзей, ходил куда-нибудь,— можно было бы думать, что он сектант; за последние

года появилось много разных сектантов. Но приятелей у Тихона, кроме Серафима-плотника, не было, он охотно посещал церковь, молился истово, но всегда почему-то некрасиво открыв рот, точно готовясь закричать. Порою, взглянув в мерцающие глаза дворника, Артамонов хмурился, ему казалось, что в этих жидких глазах затаена угроза, он ощущал желание схватить мужика за ворот, встряхнуть его:

«Ну, говори!»

Но зрачки Тихона таяли, расплывались, и каменное спокойствие его скуластого лица подавляло тревогу Петра. Когда был жив Антон-дурак, он нередко торчал в сторожке дворника или, по вечерам, сидел с ним у ворот на скамье, и Тихон допрашивал безумного:

— Ты не болтай зря, ты подумай и объясни: куятыр — это кто?

— Каямас,— радостно взвизгивал Антон и запевал:

Хиристос воскиресе, воскиресе...

— Постой!

Кибитка потерял колесо...

— Чего ты добиваешься? — спросил Артамонов с досадой, непонятной ему.

— Чтобы слова нечеловечьи объяснил.

— Да это — дураковы слова!

— И у дурака свой разум должен быть,— глупо сказал Тихон.

Вообще говорить с ним не стоило. Как-то бессонной, воющей ночью Артамонов почувствовал, что не в силах носить мертвую тяжесть на душе, и, разбудив жену, сказал ей о случае с мальчиком Никоновым. Наталья, молча мигая сонными глазами, выслушала его и сказала, зевнув:

— А я забываю сны.

Но вдруг — встрепенулась:

— Ох, боюсь, как бы Яша не занялся этим!

— Чем? — удивленно спросил муж, а когда она ощутимо объяснила ему, чего боится, он подумал, с досадой дергая себя за ухо:

«Напрасно говорил».

В эту ночь, под шорох и свист мятели, он, вместе с углубившимся сознанием своего одиночества, придумал нечто, освещающее убийство, объясняющее его: он убил испорченного мальчика, опасного товарища Илье, по силе любви своей к сыну, из страха за него. Это вносило в темную ненависть к мальчику Никонову понятную причину, это несколько облегчало. Но хотелось совершенно избавиться от этой тяжести, свалить ее на чьи-то другие плечи. Он пригласил попа Глеба, желая поговорить о грехе необычном не на исповеди, во время покаяния в обычных грехах.

Тощий, сутулый поп пришел вечером, тихонько сел в угол; он всегда засовывал длинное тело свое глубоко в углы, где потемнее, тесней; он как будто прятался от стыда. Его фигура в старенькой темной рясе почти сливалась с темной кожей кресла, на сумрачном фоне тускло выступало только пятно лица его; стеклянной пылью блестели на волосах висков капельки растаявшего снега, и, как всегда, он зажал реденькую, но длинную бороду свою в костлявый кулак.

Не решаясь начать беседу с главного, Артамонов заговорил о том, как быстро портится народ, раздражая своей ленью, пьянством, распутством; говорить об этом стало скучно, он замолчал, шагая по комнате. Тогда из сумрачного угла потекла речь попа, очень похожая на жалобу.

— Никто не заботится о народе, сам же он духовно заботиться о себе не привык, не умеет. Образованные люди... впрочем,— не решусь осуждать, да и мало у нас образованных людей. И не вживаются они, знаете, в обыкновенную жизнь, в народное. Хотя желают многого, но — не главного. Их на бунт влечет, а отсюда гонение власти на них. И вообще все как-то не налаживается у нас. Вот только единый голос все громче слышен в суетном шуме, обращен к совести мира и властно стремится пробудить ее, это голос некоего графа Толстого, философа и литератора. Замечательнейший человек, речь его смела до дерзости, но так как... тут, видите, задета православная церковь...

Он долго рассказывал о Льве Толстом, и хотя это было не совсем понятно Артамонову, однако вздыха-

ющий голос попа, истекая из сумрака тихим ручьем и рисуя почти сказочную фигуру необыкновенного человека, отводил Артамонова от самого себя. Не забывая о том, зачем он пригласил священника, Петр постепенно поддавался чувству жалости к нему. Он знал, что бедняки города смотрят на Глеба как на блаженного за то, что этот поп не жаден, ласков со всеми, хорошо служит в церкви и особенно трогательно отпевает покойников. Все это Артамонов считал естественным,— таков и должен быть поп. Его симпатия к священнику была вызвана общей нелюбовью городского духовенства и лучших людей ко Глебу. Но духовный пастырь должен быть суров, он обязан знать и говорить особенные, пронзающие слова, обязан возбуждать страх пред грехом, отвращение ко греху. Артамонов знал, что такой силой Глеб не обладает, и, слушая его неуверенную речь, слова которой колебались, видимо, боясь кого-то обидеть, он вдруг сказал:

— Я тебя, отец Глеб, для того потревожил, чтоб известить: в этом году я говеть не стану.

— Что ж так? — задумчиво спросил поп и, не дождавшись ответа, сказал: — Отвечаете пред совестью своей.

Артамонову послышалось, что Глеб произнес эти слова так же бессердечно, как говорит дворник Тихон. По бедности своей поп не носил галош, с его тяжелых, мужицких сапог натекли лужи талого снега, он шлепал подошвами по лужам и все говорил, жалуясь, но не осуждая:

— Смотришь на происходящее, и лишь одно утешает: зло жизни, возрастая, собирается воедино, как бы для того, чтоб легче было преодолеть его силу. Всегда так наблюдал я: появляется малый стерженек зла и затем на него, как на веретено нитка, нарастает все больше и больше злого. Рассеянное преодолеть — трудно, соединенное же возможно отсечь мечом справедливости сразу...

Эти слова остались в памяти Артамонова, он услыхал в них нечто утешительное; стерженек — это Павел, ведь к нему, бывало, стекались все темные мысли, он притягивал их. И снова, в этот час, он подумал, что

некоторую долю его греха справедливо будет отнести на счет сына. Облегченно вздохнув, он пригласил попа к чаю.

В столовой было светло, уютно, теплый воздух ее насыщен вкусными запахами; на столе, благодушно пофыркивая паром, кипел самовар; теща, сидя в кресле, приятно пела четырехлетней внучке:

Святая молонья
Раздала дары своя:
Апостолу Петру —
Ему летнюю жару;
Угоднику Николе —
На морях, озерах волю;
А пророку Илие —
Золотое копие...

— Языческое,— сказал поп, присаживаясь к столу, и виновато усмехнулся.

В спальне жена говорила Петру:

— Алексей воротился, видела я его. Он все больше с ума сходит по Москве. Ох, боюсь я...

Летом на белой шее и румяном, отшлифованном лице Натальи явились какие-то красненькие точки; мелкие, как укол иголки, они все-таки мешали ей, и дважды в неделю, перед сном, она усердно втирала в кожу щек мазь медового цвета. Этим делом она и занималась, сидя перед зеркалом, двигая голыми локтями; под рубахой тяжело колыхались шары ее грудей. Петр лежал в постели, закинув руки под голову, бородою в потолок, искоса смотрел на жену и находил, что она похожа на какую-то машину, а от ее мази пахнет вареной севрюгой. Когда Наталья, помолясь убедительным шопотом, легла в постель и, по честной привычке здорового тела, предложила себя мужу, он притворился спящим.

«Стерженек,— думал он.— Вот и я — веретено. Верчусь. А кто прядет? Тихон сказал: человек прядет, а чорт дерюгу ткет. Экая несуразная морда!»

Раздуваемое Алексеем дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою; они потеряли свою золотистую окраску, исчезал серебряный блеск слюды, угасали острые искорки кварца, песок утаптывался; с каждым годом, веснами на нем все обильнее разра-

стались, ярче зеленели сорные травы, на тропах уже подорожник прижимал свой лист; лопух развешивал большие уши; вокруг фабрики деревья сада сеяли цветень; осенний лист, изгнивая, удобрял жиреющий песок. Фабрика все громче ворчала, дышала тревогами и заботами; жужжали сотни веретен, шептали станки; целый день, задыхаясь, пыхтели машины, над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул; приятно было сознавать себя хозяином всего этого, даже до удивления, до гордости приятно.

Но порою, и все чаще, Артамоновым овладевала усталость, он вспоминал свои детские годы, деревню, спокойную, чистую речку Рать, широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда он чувствовал, что его схватили и вертят невидимые, цепкие руки, целодневный шум, наполняя голову, не оставлял в ней места никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом, курчавый дым фабричной трубы темнил все вокруг унынием и скукой.

В часы и дни такого настроения ему особенно не нравились рабочие; казалось, что они становятся все слабосильнее, теряют мужицкую выносливость, заразились бабьей раздражительностью, не в меру обидчивы, дерзко огрызаются. В них явилось что-то бесхозяйственное, неустойчивое; раньше, при отце, они жили семейнее, дружней, не так много пьянствовали, не так бесстыдно распутничали, а теперь все спуталось, люди стали бойчее и даже, как будто, умней, но небрежнее к работе, злее друг к другу, и все нехорошо, жуликовато присматриваются, примериваются. Особенно озорниковатой и непочтительной становилась молодежь, молодых фабрика очень быстро делала совершенно непохожими на мужиков.

Кочегара Волкова пришлось отправить в губернию, в дом умалишенных, а всего лишь пять лет тому назад он, погорелец, красивый, здоровый, явился на фабрику вместе с бойкой женою. Через год жена его загуляла, он стал бить ее, вогнал в чахотку, и вот уже обоих нет. Таких случаев быстрого сгорания людей Артамонов наблюдал не мало. За пять лет было четыре убийства, два — в драке, одно из мести, а один пожилой ткач

зарезал девку-шпульницу из ревности. Часто дрались до крови, до серьезных поранений.

На Алексея все это, видимо, не действовало. Брат становился непонятней. В нем было что-то общее с чистеньким, шутливым плотником Серафимом, который одинаково весело и ловко делал ребятишкам дудки, самострелы и сколачивал для них гроба. Ястребиные глаза Алексея сверкали уверенностью, что все идет хорошо и впредь будет хорошо идти. Уже три могилы было у него на кладбище; твердо, цепко жил только Мирон, некрасиво, наскоро слаженный из длинных костей и хрящей, весь скрипучий, щелкающий. У него была привычка ломать себе пальцы так, что они громко хрустели. В тринадцать лет он уже носил очки, это сделало немножко короче его длинный, птичий нос и притемнило неприятно светлые глаза. Ходил этот мальчик всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что казалось — книга приросла к нему. С отцом и матерью он говорил, как равный, даже и не говорил, а рассуждал. Им это нравилось, а Петр, определенно чувствуя, что племянник не любит его, платил ему тем же.

В доме Алексея все было несерьезно, несолидно; Артамонов старший видел, что разница между его жизнью и жизнью брата почти такова, как между монастырем и ярмарочным балаганом. В городе у Алексея и жены его приятелей не было, но в его тесных комнатах, похожих на чуланы, набитые ошарканными, старыми вещами, собирались по праздникам люди сомнительного достоинства: золотозубый фабричный доктор Яковлев, человек насмешливый и злой; крикливый техник Коптев, пьяница и картежник; учитель Мирона, студент, которому полиция запретила учиться; его курносая жена курила папиросы, играла на гитаре. Бывали и еще какие-то обломки людей, все они одинаково дерзко ругали попов, начальство, и было ясно, что каждый из них считает себя отличнейшим умником. Артамонов всем существом своим чувствовал, что это — не настоящие люди, и не понимал, зачем они брату, хозяину половины большого, важного дела? Слушая их крики, он вспоминал жалобу попа:

«Желают многого, но — не главного».

Он не спрашивал себя,— в чем и где это главное, он знал, что главное — в деле.

Любимцем брата был, видимо, крикливый цыган Коптев; он казался пьяным, в нем было что-то напористое и даже как будто умное, он чаще всех говорил:

— Все это пустяки, философия! Промышленность — вот! Техника!

Но в Коптеве Артамонов старший подозревал что-то еретическое, разрушительное.

— Опасный парень, — сказал он брату; Алексей удивился:

— Коптев? Что ты? Это — молодчина, деловик, вол, умница! Таких бы тысячи!

И, усмехаясь, прибавил:

— Будь у меня дочь, я бы его женил, цепью приковал бы к делу!

Петр угрюмо отошел от него. Если не играли в карты, он одиноко сидел в кресле, излюбленном им, широком и мягком, как постель; смотрел на людей, дергая себя за ухо, и, не желая соглашаться ни с кем из них, хотел бы спорить со всеми; спорить хотелось не только потому, что все эти люди не замечали его, старшего в деле, но еще и по другим каким-то основаниям. Эти основания были неясны ему, говорить он не умел и лишь изредка, натужно, вставлял свое слово:

— А вот поп Глеб рассказывал мне про одного графа...

Коптев немедленно лаял на него:

— Какое вам дело до графа, вам, вам? Граф этот — последний вздох деревенской России...

Он кричал и непочтительно тыкал пальцем в сторону Петра, а все остальные, слушая его, тоже становились похожими на цыган, бездомное, бродячее племя.

«Моль,— думал Петр.— Дармоеды».

Однажды он сказал:

— Это неправильно говорится: «Дело — не медведь, в лес не уйдет». Дело и есть медведь, уходить ему незачем, оно облапило и держит. Дело человеку — барин.

— Вот, вот,— залаял Коптев.— Где так скажут? Кто так скажет? Вот она — опасность!

А брат Алексей насмешливо спросил:

— Ты что же — у Тихона мысли занимаешь?

Это очень рассердило Петра, и дома он сказал жене:

— Ты гляди за Еленой, около нее цыган этот, Коптев, вьется. Алексей мирволит ему. Елена — кусок жирный, не для такого. Присматривай ей жениха.

— Какие тут женихи для нее,— озабоченно заговорила Наталья.— Женихов надо в губернии искать. Да и рано бы...

— Гляди — ранят,— усмехнулся Артамонов и этим вызвал у жены игривый хохоток.

Когда ему удавалось выскользнуть на краткое время, выломиться из ограниченного круга забот о фабрике, он снова чувствовал себя в густом тумане неприязни к людям, недовольства собою. Было только одно светлое пятно — любовь к сыну, но эта любовь покрылась тенью мальчика Никонова или ушла глубже под тяжестью убийства. Глядя на Илью, он иногда ощущал потребность сказать ему:

«Вот что я сделал из страха за тебя».

Разум его был недостаточно хитер и не мог скрыть, что страх явился за секунду до убийства, но Петр понимал, что только этот страх и может, хоть немного, оправдать его. Однако, разговаривая с Ильею, он боялся даже вспоминать о его товарище, боялся случайно проговориться о преступлении, которому он хотел придать облик подвига.

Он видел, что сын растет быстро, но как-то в сторону. Илья становился спокойнее, с матерью говорил мягче, не дразнил Якова, тоже гимназиста, любил возиться с младшей сестрой Татьяной, над Еленой необидно посмеивался, но во всем, что он говорил, был заметен какой-то озабоченный, вдумчивый холодок. Павла Никонова заменил Мирон, братья почти не разлучались, неистощимо разговаривая о чем-то, размахивая руками; вместе учились, читали, сидя в саду, в беседке. Илья почти не жил дома, мелькнет утром за чаем и уходит в город к дяде или в лес с Мироном и

вихрастым, черненьким Горицветовым; этот маленький, пронырливый мальчишка, колючий, как репейник, ходил виляющей походкой, его глаза были насмешливо вывихнутыми и казались косыми.

— Охота тебе дружиться с таким жиденком,— брезгливо заметила Наталья сыну; Петр Артамонов увидал, что тонко вычерченные брови сына дрогнули.

— Жиденок — обидное слово, мамаша. Вы знаете, что Александр — племянник нашего священника Глеба, значит — русский. В гимназии — он первый...

Мать пренебрежительно фыркнула:

— Жиды везде на первое место лезут.

— Откуда вы знаете это? — не уступал сын.— В городе — четыре еврея, все бедные, кроме аптекаря.

— Да сорок жиденят. И в Воргороде везде жиды, и на ярмарке...

С обидной настойчивостью Илья повторил:

— Жиды — плохое слово.

Тогда мать, стукнув чайной ложкой по блюдечку, закричала, краснея:

— Да что ты меня учишь? Не знаю я, что ли, как надо говорить? Я — не слепая, я вижу, как подхалим этот ко всем, даже к Тихону, ластится: вот я и говорю: ласков, как жиденок, а ласковые — опасные. Знала я такого, ласкового...

— Довольно! — строго вмешался Петр, а она, готовая заплакать, жаловалась:

— Что уже это, Петр Ильич, слова нельзя сказать!

Илья замолчал, нахмурясь, а мать напомнила ему:

— Ведь я тебя родила.

— Благодарю,— сказал Илья, отодвигая пустую чашку; отец искоса взглянул на него и усмехнулся, дернув себя за ухо.

В словах жены он слышал, что она боится сына, как раньше боялась керосиновых ламп, а недавно начала бояться затейливого кофейника, подарка Ольги; ей казалось, что кофейник взорвется. Нечто близкое смешному страху матери пред сыном ощущал пред ним и сам отец. Непонятен был юноша, все трое они

непонятны. Что забавное находили они в дворнике Тихоне? Вечерами они сидели с ним у ворот, и Артамонов старший слышал увещевающий голос мужика:

— Это — так. Меньше несешь — легче идешь. А насчет углов — не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету.

Гимназисты хохотали. Илья смеялся бархатисто, немного, Мирон — сухо и едко, Горицветов же не так охотно, как они, и всегда решительно обрывал смех свой, убеждая друзей:

— Подождите, это вовсе не смешно!

И снова ленивенько гудела темная речь Тихона:

— Вы, дети, про человека больше учитесь, как вообще человек. Кто к чему назначен, какая кому судьба? Вот о чем колдовать надо. Слова тоже. Слова надо понимать насквозь. Вот вы, часто,— тот, другой — говорите: конечно, круглое словцо. А конца-то и нет ничему!

И Тихон Вялов повторял знакомую Петру свою поговорку:

— Человек — нитку прядет, чорт — дерюгу ткет, так оно, без конца, и идет.

Молодежь хохотала, густо смеялся и Тихон, вздыхал:

— Эх, вы, ученые, недопеченые!

В сумраке вечера дети становились меньше, незначительнее, чем они были при свете солнца, а Тихон распухал, расползался и говорил еще глупее, чем днем.

Беседы Ильи с Тихоном, укрепляя неприязнь Артамонова к дворнику, внушали ему какие-то неясные опасения. Он спрашивал сына:

— Чем тебя Тихон занимает?

— Интересный человек.

— Да чем интересен? Глупостью своей?

Илья тихо ответил:

— И глупость понимать надо.

Ответ понравился Артамонову.

— Это — верно: в глупости живем.

Но он тотчас же сообразил:

«Тихоновы слова!»

Сын возбуждал в нем какие-то особенные надежды; когда он видел, как Илья, сунув руки в карманы, посвистывая тихонько, смотрит из окна во двор на рабочих, или не торопясь идет по ткацкой, или, легким шагом, в поселок, отец удовлетворенно думал:

«Зоркий хозяин будет. И в дело войдет не так, как я: впрягли и — повез!»

Было несколько обидно, что сын неразговорчив, а если говорит, то кратко, как бы заранее обдуманными словами, они не возбуждают желания продолжать беседу.

«Суховат», — думал Артамонов и утешал себя тем, что Илья выгодно не похож на крикливого болтуна Горицветова, на вялого, ленивого Якова и на Мирона, который, быстро теряя юношеское, говорил книжно, становился заносчив и похож на чиновника, который знает, что на каждый случай жизни в книгах есть свой, строгий закон.

Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и вот дети уже собираются уезжать. Выходит как-то так, что Наталья напутствует благими советами Якова, а отец говорит Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле? Об этом не говорят с мальчишками.

Артамонову старшему так хотелось испытать что-либо непохожее на обыкновенное, неизбежное, как снег, дождь, грязь, зной, пыль, что, наконец, он нашел или выдумал нечто. В глухом лесном углу уезда его захватила в пути июньская гроза с градом, с оглушающим треском грома и синими взрывами туч. По узкой, лесной дороге неразличимо во тьме хлынул поток воды, земля под ногами лошадей растаяла и потекла, забивая колеса шарабана до осей. Жутко было, когда синий, холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли, а по бокам дороги из мокрой тьмы, сквозь стеклянную сеть дождя, взлетали, подпрыгивая от страха, черные деревья. Невидимые лошади остановились, фыркая, хлюпая копытами по воде, толстый кучер Яким, кроткий человек, ласко-

во и робко успокаивал коней. Град, наполнив лес ледяным шумом, просыпался быстро, но его сменил густой ливень, дробно охлестывая листву миллионами тяжелых капель, наполняя тьму сердитым воем.

— К Поповым надо ехать, — сказал Яким.

И вот Артамонов, одетый в чужое платье, обтянутый им, боясь пошевелиться, сконфуженно сидит, как во сне, у стола, среди теплой комнаты, в сухом, приятном полумраке; шумит никелированный самовар, чай разливает высокая тонкая женщина, в чалме рыжеватых волос, в темном, широком платье. На ее бледном лице хорошо светятся серые глаза; мягким голосом она очень просто и покорно, не жалуясь, рассказала о недавней смерти мужа, о том, что хочет продать усадьбу и, переехав в город, открыть там прогимназию.

— Это посоветовал мне ваш брат. Интересный он человек, такой живой, самобытный.

Петр завистливо крякнул, присматриваясь ко всему, что окружало его. В молодости, разъезжая с отцом по губернии, он часто бывал в барских домах, но ничего особенного не замечал в них, чувствуя только стеснение от людей и вещей, а в этом доме ничто не стесняло; здесь было что-то ласковое и праведное. Большая лампа под матовым абажуром обливала молочным светом посуду, серебро на столе и гладко причесанную, темную головку маленькой девочки с зеленым козырьком над глазами; пред нею лежала тетрадь, девочка рисовала тонким карандашом и мурлыкала тихонько, не мешая слушать ровную речь матери. Комната невелика, тесно заставлена мебелью, и все вещи точно вросли в нее, но каждая жила отдельно и что-то говорила о себе, так же, как три очень яркие картины на стенах; на картине против Петра белая, сказочная лошадь гордо изогнула шею; грива ее невероятно длинна, почти до земли. Все удивительно уютно, спокойно, и, точно задумчивая песня, как будто издали доходя, звучал красивый голос хозяйки. Вот в таком окружении можно прожить всю жизнь без тревог, не сделав ничего плохого; имея женой такую женщину, можно уважать ее, можно говорить с нею обо всем.

За дверью на террасу, сквозь полукруг разноцветных стекол, синевато взрывалось, вспыхивало черное небо, уже не пугая душу.

На заре Артамонов уехал, бережно увозя впечатление ласкового покоя, уюта и почти бесплотный образ сероглазой, тихой женщины, которая устроила этот уют. Плывя в шарабане по лужам, которые безразлично отражали и золото солнца, и грязные пятна изорванных ветром облаков, он, с печалью и завистью, думал:

«Вот как живут».

Он почему-то не сказал жене о своем знакомстве и скрыл его от Алексея; тем более неловко стало ему через несколько недель, когда, придя к брату, он увидал Попову рядом с Ольгой, на диване; брат толкнул его к дивану:

— Вот, Вера Николаевна, братишко мой.

Женщина, улыбаясь, протянула руку:

— Мы уже знакомы.

— Как это? — удивленно воскликнул Алексей. — Когда это? Ты что же не сказал?

В удивлении брата Петр почувствовал нечто нехорошее, и у него необъяснимо пошевелились волосы бороды; дернув себя за ухо, он ответил:

— Я забыл.

Алексей, бесстыдно указывая на него пальцем, кричал:

— Смотрите — покраснел, а? Нет, ловко ты ответил, дитятко! Да разве эдакую даму, однажды увидев, можно забыть? Глядите — уши у него чешутся, растут!

Попова улыбалась необидно, ласково.

Пили мед со льдом из высоких граненых бокалов; мед привезла в подарок Ольге эта женщина, он был золотист, как янтарь, весело пощипывал язык, подсказывал Петру какие-то очень бойкие слова, но их некуда было вставить, брат непрерывно и беспокойно трещал:

— Нет, Вера Николаевна, вы не торопитесь продавать! Это надо продать любителю тишины, это — место для отдыха души. А наш брат — что вам даст?

Земли у вас нет, лесу — мало, да и — плохой, да и кому, кроме зайцев, лес нужен здесь?

Петр сказал:

— Продавать не надо.

— Почему же? — спросила Попова, задумчиво прихлебывая мед, и вздохнула: — Надо.

Петру не понравился внимательный взгляд Ольги и трепет ее губ, спрятавших улыбку: он мрачно выпил мед и промолчал в ответ Поповой.

Через два дня в конторе Алексей объявил ему, что намерен дать Поповой денег под заклад вещей.

— Усадьбе ее цена — семь целковых, а вот вещи...

— Не давай, — сказал Петр очень решительно.

— Почему? Я вещам цену знаю...

— Не давай.

— Да — почему? — кричал Алексей. — Я — со знатоком приеду к ней, с оценщиком.

Петр отрицательно мотал головою; ему очень хотелось отговорить брата от этой операции, но, не находя возражений, он вдруг предложил:

— Пополам дадим; ты — половину и я.

Алексей усмехнулся, глядя на него в упор.

— Чудить начинаешь?

— Значит — пора пришла, — сказал Петр Артамонов громко.

— Смотри: не в тот адрес! — предупредил брат.— Я — пробовал, она — рыба.

После двух-трех встреч с Поповой Артамонов выучился мечтать о ней. Он ставил эту женщину рядом с собою, и тотчас же возникала перед ним жизнь удивительно легкая, уютная, красивая внешне, приятно тихая внутренно, без необходимости ежедневно видеть десятки нерадивых к делу людей; всегда чем-то недовольные, они то кричали, жаловались, то лгали, стараясь обмануть, их назойливая лесть раздражала так же, как плохо скрытая, но все растущая враждебность. Легко создавалась картина жизни вне всего этого, вдали от красного, жирного паука фабрики, все шире ткавшего свою паутину. Он видел себя чем-то, подобным большому коту; ему тепло и спокойно, хозяйка лю-

бит его, охотно ласкает, и больше ему ничего не нужно. Ничего.

Как раньше мальчик Никонов был для него темной точкой, вокруг которой собиралось все тяжелое и неприятное, так теперь Попова стала магнитом, который притягивал к себе только хорошие, легкие думы и намерения. Он отказался ехать с братом и каким-то хитрым старичком в очках в усадьбу Поповой, оценивать ее имущество, но, когда Алексей, устроив дело с закладной, воротился, он предложил:

— Продай мне закладную.

Алексей был неприятно изумлен, долго выспрашивал, зачем это нужно, и наконец сказал:

— Послушай, мне это не выгодно! Заплатить ей — нечем, цена вещам — большая, понимаешь? Давай придачи!

Сторговались; Алексей, морщась, сказал:

— Желаю удачи. Дело — доброе.

Петр тоже чувствовал, что им сделано хорошее дело: он подарил себе угол для отдыха.

— Жене твоей — не говорить? — спросил брат, подмигнув.

— Твое дело.

Испытующе глядя на него, Алексей сказал:

— Ольга думает, что влюбился ты в Попову.

— А это — мое дело.

— Не рычи. В эти, в наши годы почти все мужчины шалят.

Грубо и сердито Петр ответил:

— Ты меня не трогай...

Вскоре он почувствовал, что Ольга стала говорить с ним еще более дружелюбно, но как-то жалостливо; это не понравилось ему, и, осенним вечером, сидя у нее, он спросил:

— Тебе муж плел чего-нибудь насчет Поповой?

Погладив легкой рукой своей его волосатую руку, она сказала:

— Дальше меня это не пойдет.

— Оно никуда не пойдет, — сказал Артамонов, стукнув кулаком по колену. — Оно — со мной останется. Тебе этого не понять. Ты ей не говори ничего.

Он не испытывал вожделения к Поповой, в мечтах она являлась пред ним не женщиной, которую он желал, а необходимым дополнением к ласковому уюту дома, к хорошей, праведной жизни. Но когда эта женщина переехала в город, он стал часто видеть ее у Алексея и вдруг почувствовал себя ошеломленным. Он увидел ее у постели заболевшей Ольги; засучив рукава кофты, наклонясь над тазом, она смачивала водою полотенце, сгибалась, разгибалась; удивительно стройная, с небольшими девичьими грудями, она была неотразимо соблазнительна. Стоя у двери, Артамонов молча, исподлобья смотрел на ее белые руки, на тугие икры ног, на бедра, вдруг окутанный жарким туманом желания до того, что почувствовал ее руки вокруг своего тела. В ответ на ее приветствие он, с трудом согнув шею, прошел к окну и сел там, отдуваясь, угрюмо спрашивая:

— Что же ты это, Ольга? Нехорошо...

Впервые женщина действовала на него так властно и сокрушительно; он даже испугался, смутно ощущая в этом нечто опасное, угрожающее. Послав своего кучера за доктором, он тотчас ушел пешком по дороге на фабрику.

Был конец февраля; оттепель угрожала вьюгой; серенький туман висел над землею, скрывая небо, сузив пространство до размеров опрокинутой над Артамоновым чаши; из нее медленно сыпалась сырая, холодная пыль; тяжело оседая на волосах усов, бороды, она мешала дышать. Артамонов, шагая по рыхлому снегу, чувствовал себя так же смятым и раздавленным, как в ночь покушения Никиты на самоубийство и в час убийства Павла Никонова. Сходство тяжести этих двух моментов было ясно ему и тем более опасным казался третий. Было ясно, что он никогда не сумеет сделать эту барыню любовницей своей. Он уже и в этот час видел, что внезапно вспыхнувшее влечение к Поповой ломает и темнит в нем что-то милое ему, отодвигая эту женщину в ряд обычного. Он слишком хорошо знал, что такое жена, и у него не было причин думать, что любовница может быть чем-то или как-то лучше жен-

щины, чьи пресные, обязательные ласки почти уже не возбуждали его.

«Чего надо? — спрашивал он себя. — Блудить хочешь? Жена есть».

Всегда в часы, когда ему угрожало что-нибудь, он ощущал напряженное стремление как можно скорей перешагнуть через опасность, оставить ее сзади себя и не оглядываться назад. Стоять пред чем-то угрожающим — это то же, что стоять ночью во тьме на рыхлом, весеннем льду, над глубокой рекою; этот ужас он испытал, будучи подростком, и всем телом помнил его.

Через несколько дней, прожитых в тяжелом, чадном отупении, он, после бессонной ночи, рано утром вышел на двор и увидал, что цепная собака Тулун лежит на снегу, в крови; было еще так сумрачно, что кровь казалась черной, как смола. Он пошевелил ногою мохнатый труп, Тулун тоже пошевелил оскаленной мордой и взглянул выкатившимся глазом на ногу человека. Вздрогнув, Артамонов отворил низенькую дверь сторожки дворника, спросил, стоя на пороге:

— Кто убил собаку?

— Я, — сказал Тихон, держа блюдечко чая на пяти растопыренных пальцах.

— Зачем это?

— Опять человека укусила.

— Кого?

— Зинаиду, Серафимову дочь.

Задумавшись о чем-то, помолчав, Петр сказал:

— Жалко пса.

— А — как же? Я его вскормил. А он и на меня стал рычать. Положим, и человек сбесится, если его на цепь посадить...

— Верно, — сказал Артамонов и ушел, очень плотно прикрыв дверь за собой, думая:

«Иной раз даже этот разумно говорит».

Он постоял среди двора, прислушиваясь к шороху и гулу фабрики. В дальнем углу светилось желтое пятно — огонь в окне квартиры Серафима, пристроенной к стене конюшни. Артамонов пошел на огонь, заглянул в окно, — Зинаида в одной рубахе сидела у стола, пред

лампой, что-то ковыряя иглой; когда он вошел в комнату, она, не поднимая головы, спросила:

— Зачем вернулся?

Но, вскинув глаза, бросила шитье на стол, встала улыбаясь, вскрикнув:

— Ой, господи! А я думала — отец...

— Тебя, слышь, Тулун укусил?

— Да ведь как! — точно хвастаясь, сказала она и, поставив ногу на стул, приподняла подол рубахи: — Глядите-ко!

Артамонов мельком взглянул на белую ногу, перевязанную под коленом, и подошел вплоть к девице, спрашивая глухо:

— А ты зачем, на заре, по двору бегаешь? Зачем, а?

Вопросительно взглянув в лицо его, она тотчас же догадливо усмехнулась, сильно дунув в стекло лампы, погасила ее и сказала:

— Дверь надобно запереть.

Через полчаса Петр Артамонов не торопясь шел на фабрику, приятно опустошенный; дергал себя за ухо, поплевывал, с изумлением вспоминая бесстыдство ласк шпульницы, и усмехался: ему казалось, что он кого-то очень ловко обманул, обошел...

Он вломился в разгульную жизнь фабричных девиц, как медведь на пасеку. Вначале эта жизнь, превышая все, что он слышал о ней, поразила его задорной наготою слов и чувств; все в ней было развязно, показывалось с вызывающим бесстыдством, об этом бесстыдстве пели и плакали песни, Зинаида и подруги ее называли его — любовь, и было в нем что-то острое, горьковатое, опьяняющее сильнее вина.

Артамонов знал, что служащие фабрики называют прислонившуюся к стене конюшни хижину Серафима «Капкан», а Зинаиде дали прозвище «Насос». Сам плотник называл жилище свое «Монастырем». Сидя на скамье, около печи, всегда с гуслями на расшитом полотенце, перекинутом через плечо, за шею, он, бойко вскидывая кудрявую головку, играя розовым личиком, подмигивал, покрикивал:

— Веселись, монашенки! Ведь это, Петр Ильич, монахини, ты что думаешь? Они веселому чорту послух

несут, а я у них — настоятель, вроде попа, звонкие косточки! Кинь рублик на веселье жизни!

Получив деньги, он совал их за онучу и разудало пел, подыгрывая на гуслях:

Сидит барыня в аду,
Просит жареного льду.
Черти ее, глупую,
Кочергою щупают!

— Много прибауток знаешь ты, — удивлялся хозяин, а старичок хвастливо балагурил:

— Сито! Я — как сито; какую хошь дрянь насыпь в меня, я тебе песню отсею. Такой я человек — сито!

И рассказывал:

— Меня этому господа выучили; были такие замечательные господа Кутузовы, и был господин Япушкин, тоже пьяница. Притворялся бедным, — хитрый! — ходил пешком с коробом за плечами, будто мелочью торговал, а сам все, что видит, слышит, — записывал. Писал, писал, да — к царю: гляди, говорит, твое величество, о чем наши мужики думают! Поглядел царь, почитал записи, смутился душой и велел дать мужикам волю, а Япушкину поставить в Москве медный памятник, самого же его — не трогать, а сослать живого в Суздаль и поить вином, сколько хочет, на казенный счет. Потому, видишь, что Япушкин еще много записал тайностей про народ, ну только они были царю не выгодны и требовалось их скрыть. Там, в Суздали, Япушкин спился досмерти, а записи у него, конечно, выкрали.

— Врешь ты что-то, — заметил Артамонов.

— Кроме девок — никогда, никому не врал, это не мое рукомесло, — говорил старик, и трудно было понять, когда он не шутит.

— Врет кто правду знает, — балагурил он, — а я врать не могу, я правды не знаю. То есть, ежели хочешь, — я тебе скажу: я правды множество видел, и мой куплет таков: правда — баба, хороша, покамест молода.

Но, не зная правды, он знал бесконечно много историй о господах, о их забавах и несчастиях, о жестоко-

сти и богатстве и, рассказывая об этом, добавлял всегда с явным сожалением:

— Ну, однако им — конец! С точки жизни съехали, сами себя не понимают! Сорвались...

Он писал пальцем круг над своей головой и, быстро опустив руку, чертил такой же круг над полом.

— Зашалились! — говорил он, подмигивая, и пел:

Жили-были господа,
Кушали телятину.
И проели господа
Худобишку тятину!

Рассказывал Серафим о разбойниках и ведьмах, о мужицких бунтах, о роковой любви, о том, как ночами к неутешным вдовам летают огненные змеи, и обо всем он говорил так занятно, что даже неуемная дочь его слушала эти сказки молча, с задумчивой жадностью ребенка.

В Зинаиде Артамонов брезгливо наблюдал соединение яростного распутства с расчетливой деловитостью. Он не однажды вспоминал клевету Павла Никонова,— клевету, которая оказалась пророчеством.

«Почему — эту выбрал я? — спрашивал он себя.— Есть — красивее. Хорош буду, когда сын узнает про нее».

Он замечал также, что Зинаида и подруги ее относятся к своим забавам, точно к неизбежной повинности, как солдаты к службе, и порою думал, что бесстыдством своим они тоже обманывают и себя, и еще кого-то. Его скоро стала отталкивать от Зинаиды ее назойливая жадность к деньгам, попрошайничество; это было выражено в ней более резко, чем у Серафима, который тратил деньги на сладкое вино «Тенериф», — он почему-то называл его «репным вином», — на любимую им колбасу с чесноком, мармелад и сдобные булки.

Артамонову очень нравился легкий, забавный старичок, искусный работник, он знал, что Серафим также нравится всем, на фабрике его звали — Утешитель, и Петр видел, что в этом прозвище правды было больше, чем насмешки, а насмешка звучала ласково.

Тем более непонятна и неприятна была ему дружба Серафима с Тихоном, Тихон же как будто нарочно углублял эту неприязнь. День именин Вялова на двадцатом году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днем для именинника.

— Подумай, какой он редкий человек! — сказала она мужу. — За двадцать лет ничего худого не видели мы от него. Как восковая свеча теплится.

Желая особенно почтить дворника, Петр сам понес ему подарки. В сторожке его встретил нарядный Серафим, за ним стоял Тихон, наклонив голову, глядя на сапоги хозяина.

— От меня тебе — часы, на! От жены — сукно на поддевку. И вот еще — деньги.

— Деньги — лишние, — пробормотал Тихон, потом сказал:

— Спасибо.

Он пригласил хозяина выпить «Тенерифа», подаренного Серафимом, а старичок тотчас же заиграл словами:

— Ты, Петр Ильич, нам цену знаешь, а мы — тебе. Мы понимаем: медведь любит мед, а кузнец железо кует; господа для нас медведи были, а ты — кузнец. Мы видим: дело у тебя большое, трудное.

Тут Вялов, вертя в пальцах серебряные часы, сказал, глядя на них:

— Дело — перила человеку; по краям ямы ходим, за них держимся.

— Вот! — закричал Серафим, чему-то радуясь. — Верно! А то бы упали, значит!

— Ну, это вы говорите зря, — сказал Артамонов. — Потому что вы не хозяева. Вам — не понять...

Он не находил достаточно сильных возражений, хотя слова Тихона сразу рассердили его. Не впервые Тихон одевал ими свою упрямую, темную мысль, и она все более раздражала хозяина. Глядя на обильно смазанную маслом, каменную голову дворника, он искал подавляющих слов и сопел, дергая ухо.

— Дела, конечно, разные, — примирительно заговорил Серафим: — есть — плохие, есть — хорошие...

— Хорош нож, да горлу невтерпеж, — проворчал Тихон.

Хозяину захотелось крепко обругать именинника, и, едва сдержав это желание, он строго спросил:

— Что ты, как всегда, неразумно бормочешь о деле? Понять нельзя...

Тихон, глядя под стол, согласился:

— Понять — трудно.

Снова заговорил плотник:

— Он, Петр Ильич, только безобидные дела признает...

— Постой, Серафим, пускай он сам скажет.

Тогда Тихон, не шевелясь, показывая хозяину серую, в ладонь величиной, лысину на макушке, вздохнул:

— Делам чорт Каина обучил...

— Вот он как загибает! — крикнул Серафим, ударив себя ладонью по колену.

Артамонов встал со стула и сердито посоветовал дворнику:

— Ты бы лучше не говорил о том, чего тебе не понять. Да.

Он ушел из сторожки возмущенный, думая о том, что Тихона следует рассчитать. Завтра же и рассчитать бы. Ну — не завтра, а через неделю. В конторе его ожидала Попова. Она поздоровалась сухо, как незнакомая, садясь на стул, ударила зонтиком в пол и заговорила о том, что не может уплатить сразу все проценты по закладной.

— Это пустяки,— тихо сказал Петр, не глядя на нее, и услыхал ее слова:

— Если вы не согласны отсрочить, — за вами право отказать мне.

Она сказала это обиженно и, вновь стукнув зонтом, ушла так неожиданно быстро, что он успел взглянуть на нее лишь тогда, когда она притворяла дверь за собою.

«Рассердилась,— сообразил Артамонов.— За что же?»

Через час он сидел у Ольги, хлопая фуражкой по дивану, и говорил:

— Ты ей скажи: мне процентов не надо и денег не надо с нее. Какие это деньги? И чтобы она не беспокоилась, понимаешь?

Разбирая пестрые мотки шелка, передвигая по столу коробочки с бисером, Ольга сказала задумчиво:

— Я-то понимаю, а она едва ли поймет.

— А ты сделай так, чтоб она. Что мне ты?

— Спасибо, — сказала Ольга, блеснув очками, эта стеклянная улыбка вызвала у Петра раздражение.

— Не шути! — грубовато сказал он.— Мою свинью в ее огороде я не надеюсь пасти, не ищу этого, — не думай!

— Ох, мужик,— вздохнув, сказала Ольга, сомнительно качая гладко причесанной головою.

Петр крикнул:

— Ты — верь! Я знаю, что говорю...

— Ох, знаешь ли?

Охала она сочувственно, это Артамонов слышал. Он видел, что глаза ее смотрят на него через очки жалобно, почти нежно, но это только сердило его. Он хотел сказать ей нечто убедительно ясное и не находил нужных слов, глядя на подоконник, где среди мясистых листьев бегоний, похожих на звериные уши, висели изящные кисти цветов.

— Мне усадьбу ее жалко. Это замечательная усадьба, да! Она там — родилась...

— Родилась она в Рязани...

— Она там привыкла, все равно! А у меня там душа первый раз спокойно уснула...

— Проснулась,— поправила Ольга.

— Это — все равно для души — уснула, проснулась...

Он долго говорил что-то, что самому ему было неясно, Ольга слушала, облокотясь на стол, а когда у него иссякли слова, сказала:

— Теперь послушай меня...

И поведала ему, что Наталья, зная о его возне со шпульницей, обижена, плачет, жалуется на него. Но Артамонова не тронуло это.

— Хитрая, — сказал он, усмехаясь: — Ни словом не дала мне понять, что знает. Тебе жаловалась? Так. А ведь она тебя не любит.

Подумав, он добавил:

— Зинаиду прозвали Насос, это — верно! Она из меня всю дрянь высосала.

— Гадости говоришь,— поморщилась Ольга и вздохнула. — Помнится, я тебе сказала как-то, что душа у тебя — приемыш, так и есть, Петр, боишься ты сам себя, как врага...

Эти слова задели его:

— Дерзко ты говоришь со мной; мальчишка я, что ли? Ты бы вот о чем подумала: вот, я говорю с тобой, и душа моя открыта, а больше мне не с кем говорить эдак-то. С Натальей — не разговоришься. Мне ее иной раз бить хочется. А ты... Эх вы, бабы!..

Он надел фуражку и, внезапно охваченный немой скукой, ушел, думая о жене,— он давно уже не думал о ней, почти не замечал ее, хотя она, каждую ночь, пошептавшись с богом, заученно, ласково укладывалась под бок мужа.

«Знает, а лезет,— гневно думал он.— Свинья».

Жена была знакомой тропою, по которой Петр, и ослепнув, прошел бы не споткнувшись; думать о ней не хотелось. Но он вспомнил, что теща, медленно умиравшая в кресле, вся распухнув, с безобразно раздутым, багровым лицом, смотрит на него все более враждебно; из ее когда-то красивых, а теперь тусклых и мокрых глаз жалобно текут слезы; искривленные губы шевелятся, но отнявшийся язык немо вываливается изо рта, бессилен сказать что-либо; Ульяна Баймакова затискивает его пальцами полуживой, левой руки.

«Эта — чувствует. Ее жалко».

Ему все-таки нужно было большое усилие воли, чтоб прекратить бесстыдную возню с Зинаидой. Но как только он сделал это,— тотчас же, рядом с похмельными воспоминаниями о шпульнице, явились какие-то ноющие думы. Как будто родился еще другой Петр Артамонов, он жил рядом с первым, шел за спиной его. Он чувствовал, что этот двойник растет, становится ощутимей и мешает ему во всем, что он, Петр Артамонов

настоящий, призван и должен делать. Этот, другой, ловко пользуясь минутами внезапно, как ветер из-за угла, налетавшей задумчивости, нашептывал ему досадные, едкие мысли:

«Работаешь, как лошадь, а — зачем? Сыт на всю жизнь. Пора сыну работать. От любви к сыну — мальчишку убил. Барыня понравилась — распутничать начал».

Всегда, после того как скользнет такая мысль, жизнь становилась темней и скучней.

Он как-то не доглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Не одно это событие прошло незаметно; так же незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого парня с черненькими усиками, сына богатого ювелира; так же, между прочим, умерла наконец, задохнулась теща, знойным полуднем июня, перед грозою; еще не успели положить ее на кровать, как где-то близко ударил гром, напугав всех.

— Окна, двери закройте! — крикнула Наталья, подняв руки к ушам; огромная нога матери вывалилась из ее рук и глухо стукнула пяткой о пол.

Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий, стройный человек в серой легкой паре, с заметными усами на исхудавшем, смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста, был больше похож на себя. Сыновья вежливо поздоровались, сели.

— Вот,— сказал отец, шагая по конторе,— вот и бабушка померла.

Илья промолчал, закурив папиросу, а Яков выговорил новым, не своим голосом:

— Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал.

Пропустив мимо ушей неумные слова младшего, Артамонов присматривался к лицу Ильи; значительно изменясь, оно окрепло, лоб, прикрытый прядями потемневших волос, стал не так высок, а синие глаза углубились. Было и забавно и как-то неловко вспомнить, что этого задумчивого человека в солидном костюме он трепал за волосы; даже не верилось, что это было. Яков просто вырос, он только увеличился, оставшись таким

же пухлым, каким был, с такими же радужными глазами. И рот у него был еще детский.

— Сильно вырос ты, Илья,— сказал отец.— Ну, вот, присматривайся к делу, а годика через три и к рулю встанешь.

Играя корешковой папиросницей, с отбитым уголком, Илья взглянул в лицо отца:

— Нет, я буду учиться еще.

— Долго ли?

— Года четыре, пять.

— Эко! Чему это?

— Истории.

Артамонову не понравилось, что сын курит, да и папиросница у него плохая, мог бы купить лучше. Ему еще более не понравилось намерение Ильи учиться и то, что он сразу, в первые же минуты, заговорил об этом.

Указав в окно, на крышу фабрики, где фыркала паром тонкая трубка и откуда притекал ворчливый гул работы, он сказал внушительно, стараясь говорить мягко:

— Вот она пыхтит, история! Ей и надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история — дело не наше. Мне пятьдесят, пора меня сменить.

— Мирон сменит, Яков. Мирон будет инженером,— сказал Илья и, высунув руку за окно, стряхнул пепел папиросы.

Отец напомнил:

— Мирон — племянник, а не сын. Ну, об этом после поговорим...

Дети встали, ушли, отец проводил их обиженным и удивленным взглядом; что же — у них нечего сказать ему? Посидели пять минут, один, выговорив глупость, сонно зевнул, другой — надымил табаком и сразу огорчил. Вот они идут по двору, слышен голос Ильи:

— Пойдем, посмотрим на реку?

— Нет, я устал. Растрясло.

«Река и завтра не утечет, а мать огорчена смертью родительницы своей, захлопоталась на похоронах».

Подчиняясь своей привычке спешить навстречу неприятному, чтоб скорее оттолкнуть его от себя, обойти, Петр Артамонов дал сыну неделю отдыха и приметил за это время, что Илья говорит с рабочими на «вы», а по ночам долго о чем-то беседует с Тихоном и Серафимом, сидя с ними у ворот; даже подслушал из окна, как Тихон мертвеньким голосом своим выливал дурацкие слова:

— Так, так? Жить нищим, — значит ни с чем жить. Верно, Илья Петрович, если не жадовать — на всех всего хватит.

А Серафим весело кудахтал:

— Это я знаю! Это я да-авно слышал...

Яков вел себя понятнее: бегал по корпусам, ласково поглядывал на девиц, смотрел с крыши конюшни на реку, когда там, в обеденное время, купались женщины.

«Бычок,— хмуро думал отец.— Надо сказать Серафиму, чтоб присмотрел за ним, не заразился бы...»

Во вторник день был серенький, задумчивый и тихий. Рано утром, с час времени, на землю падал, скупо и лениво, мелкий дождь, к полудню выглянуло солнце, неохотно посмотрело на фабрику, на клин двух рек и укрылось в серых облаках, зарывшись в пухлую мякоть их, как Наталья, ночами, зарывала румяное лицо свое в пуховые подушки.

Перед вечерним чаем Артамонов спросил Якова:

— А где брат?

— Не знаю; сидел там на холме, под сосной.

— Позови. Нет, не надо. Как вы — согласно живете?

Ему показалось, что младший сын едва заметно усмехнулся, говоря:

— Ничего, дружно.

— А — все-таки? Правду говори...

Яков опустил глаза, подумал:

— В мыслях — не очень согласны.

— В каких мыслях?

— Вообще, обо всем.

— В чем же?

— Он все по книгам, а я — просто, от ума. Как вижу.

— Так, — сказал отец, не умея спросить более подробно.

Накинул на плечи парусиновое пальто, взял подарок Алексея, палку с набалдашником — серебряная птичья лапа держит малахитовый шар — и, выйдя за ворота, посмотрел из-под ладони к реке на холм,— там под деревом лежал Илья в белой рубахе.

«А песок сегодня сыроват. Простудиться может, неосторожный».

Не спеша, честно взвешивая тяжесть всех слов, какие необходимо сказать сыну, отец пошел к нему, приминая ногами серые былинки, ломко хрустевшие. Сын лежал вверх спиною, читал толстую книгу, постукивая по страницам карандашом; на шорох шагов он гибко изогнул шею, посмотрел на отца и, положив карандаш между страниц книги, громко хлопнул ею; потом — сел, прислонясь спиной к стволу сосны, ласково погладив взглядом лицо отца. Артамонов старший, отдуваясь, тоже присел на обнаженный, дугою выгнутый корень.

«Не буду сегодня говорить о деле, успею еще, поболтаем просто».

Но Илья, обняв колена свои руками, сказал негромко:

— Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке.

— Посвятить,— повторил отец.— Как в попы.

Он хотел сказать шутливо, но услыхал, что слова его прозвучали угрюмо, почти сердито; он, с досадой на себя, ударил палкой по песку. И тотчас началось что-то непонятное, ненужное; синь глаз Ильи потемнела, четко выведенные брови сдвинулись, он откинул волосы со лба и с нехорошей настойчивостью заговорил:

— Фабрикантом я не буду, я для этого дела не способен...

— Эдак-то вот Тихон говорит,— вставил отец, усмехаясь.

Не обратив внимания на его слова, сын начал объяснять, почему он не хочет быть фабрикантом и вообще хозяином какого-либо дела; говорил он долго, минут десять, и порою в словах его отец улавливал как будто нечто верное, даже приятно отвечавшее его смутным думам, но в общем он ясно видел, что сын говорит неразумно, по-детски.

— Постой,— сказал он, ткнув палкой в песок, около ноги сына.— Погоди, это не так. Это — чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Без корысти никто не станет работать. Всегда говорится: «Какая мне корысть?» Все вертятся на это веретено. Гляди, сколько поговорок: «Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша». Или: «И святой барыша ради молится». «Машина — вещь мертвая, а и она смазки просит».

Он говорил не волнуясь и, вспоминая подходящие пословицы, обильно смазывал жиром их мудрости речь свою. Ему нравилось, что он говорит спокойно, не затрудняясь в словах, легко находя их, и он был уверен, что беседа кончится хорошо. Сын молчал, пересыпая песок из горсти в горсть, отсеивал от него рыжие иглы хвои и сдувал их с ладони. Но вдруг он сказал, тоже спокойно:

— Все это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить.

Артамонов старший приподнялся, опираясь на палку, сын не помог ему.

— Так. Значит, отец говорит не правду?

— Есть другая правда.

— Врешь. Другой — нет.

И, махнув палкой в сторону фабрики, отец сказал:

— Вон она, правда! Дедушка твой ее начал, я туда положил всю жизнь, а теперь — твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы — работали, а тебе — гулять? На чужом труде праведником жить хочешь? Не плохо придумал! История! Ты на историю плюнь. История — не девица, на ней не женишься. И — какая там, дура, история? К чему она? А я тебе лентяйничать не дам...

Почувствовав, что он стал говорить излишне сердито, Петр Артамонов попытался сгладить свои слова:

— Я — понимаю, тебе в Москве жить хочется; там веселее, вот и Алексей...

Илья поднял книгу, сдул с нее песчинки и сказал:

— Разрешите учиться.

— Не разрешаю! — вскрикнул отец, воткнув палку в песок.— Не проси.

Тогда Илья тоже встал и, глядя через плечо отца побелевшими глазами, сказал негромко:

— Ну, что ж, мне придется обойтись без разрешения.

— Не смеешь!

— Нельзя запретить человеку жить, как он хочет,— сказал Илья, тряхнув головою.

— Человеку? Ты — сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе все — мое.

Это вырвалось как-то само собою, этого не надо было говорить. И, смягчив голос, отец сказал, качая головою укоризненно:

— Так-то платишь ты за мои заботы о тебе? Эх, дурень...

Он видел, что Илья покраснел и у него дрожат руки, сын хочет спрятать их в карманы брюк, а руки не находят карманов. И, боясь, что сын скажет что-то лишнее, даже непоправимое, он торопливо сам сказал:

— Ради тебя я человека убил... Может быть...

Артамонов прибавил — может быть — потому, что, сказав первые слова, тотчас понял: их тоже нельзя было говорить в такую минуту мальчишке, который явно не хочет понять его.

«Сейчас спросит: какого человека?» — подумал он и быстро шагнул вниз по сыпучему склону холма, а сын оглушительно сказал в затылок ему:

— Не одного убили вы, вон там целое кладбище убитых фабрикой.

Артамонов остановился, обернулся; Илья, протянув руку, указывал книгой на кресты в сером небе. Песок захрустел под ногами отца, Артамонов вспо-

мнил, что за несколько минут перед этим он уже слышал что-то обидное о фабрике и кладбище. Ему хотелось скрыть свою обмолвку, нужно, чтоб сын забыл о ней, и, по-медвежьи, быстро идя на него, размахивая палкой, стремясь испугать, Артамонов старший крикнул:

— Ты что сказал, подлец?

Илья отскочил за ствол дерева:

— Образумьтесь! Что вы?

Отец ударил палкой по стволу, она переломилась; бросив обломок ее к ногам сына так, что обломок косо, кверху зеленым шаром, воткнулся в песок, Петр Артамонов пригрозил:

— Нужники чистить заставлю!

И быстро пошел, покатился прочь, шатаясь, чувствуя, что разум его снует в словах горя и гнева, как челнок в запутанной основе.

«Выгоню. Нужда заставит — воротится. Тогда — нужники чистить. Да, не дури!» — отрывал он коротенькие мысли от быстро вертевшегося клубка их и в то же время смутно понимал, что вел себя не так, как следовало, пересолил, раздул обиду свою.

Выйдя на берег Оки, он устало сел на песчаном обрыве, вытер пот с лица и стал смотреть в реку. В маленькой, неглубокой заводи плавала стайка плотвы, точно стальные иглы прошивали воду. Потом, важно разводя плавниками, явился лещ, поплавал, повернулся на бок и, взглянув красненьким глазком вверх, в тусклое небо, пустил по воде светлым дымом текучие кольца.

Артамонов, погрозив лещу пальцем, вслух сказал:

— Я тебе устрою судьбу!

И — оглянулся, услыхав, что слова звучали фальшиво. Спокойное течение реки смывало гнев; тишина, серенькая и теплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком двадцать лет непрерывно и тревожно думал, вдруг, в несколько минут, выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов был уверен, что ежедневно, неутомимо все двадцать лет он думал только о сыне, жил надеждами

на него, любовью к нему, ждал чего-то необыкновенного от Ильи.

«Как спичка, — вспыхнула, и — нет ее! Что же это?»

Серое небо чуть порозовело; в одном месте его явилось пятно посветлее, напоминая масляный лоск на заношенном сукне. Потом выглянула обломанная луна; стало свежо и сыро; туман легким дымом поплыл над рекой.

Артамонов пришел домой, когда жена, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти. Искоса взглянув на мужа, она спросила:

— Ты куда это Илью послал?

— К чорту,— ответил он, раздеваясь.

— Все сердишься ты,— вздохнула Наталья; муж промолчал, посапывая, возясь нарочито шумно. Дождь начал кропить стекла окон, влажный шопот поплыл по саду.

— Уж очень загордился Илья ученьем.

— У него мать — дура.

Мать втянула носом воздух и, перекрестясь, легла в постель, а Петр раздеваясь, с наслаждением обижал ее:

— Что ты можешь? Ничего. Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь: есть да спать. Да рожу мазать себе.

Жена сказала в подушку:

— А кто учиться отдавал их? Я говорила...

— Молчи!

Он тоже замолчал, прислушиваясь, как все сильнее падает дождь на листья черемухи, посаженной Никитой.

«Благую долю выбрал горбатый. Ни детей, ни дела. Пчелы. Я бы и пчел не стал разводить, пусть каждый, как хочет, сам себе мед добывает».

Повернувшись вверх грудью так осторожно, как будто она лежала на льду, Наталья дотронулась теплой щекою до плеча мужа.

— Поругался ты с Ильей?

Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном; он проворчал:

— С детями — не ругаются, их ругают.

— В город уехал он.

— Воротится. Даром нигде не кормят. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Спи, не мешай мне.

Через минуту он сказал:

— Якову учиться больше не надо.

И еще через минуту:

— Послезавтра на ярмарку поеду. Слышишь?

— Слышу.

«Что же это такое? — соображал Артамонов, закрыв глаза, но видя перед собою лобастое лицо, вспоминая нестерпимо обидный блеск глаз Ильи.— Как работника, рассчитал отца, подлец! Как нищего оттолкнул...»

Поражала непонятная быстрота разрыва; как будто Илья уже давно решил оторваться. Но — что понудило его на этот поступок? И, вспоминая резкие, осуждающие слова Ильи, Артамонов думал:

«Мирошка, лягавая собака, настроил его. А о том, что дела человеку вредны, это — Тихоновы мысли. Дурак, дурак! Кого слушал? А — учился! Чему же учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко. И бежит прочь, чтобы вырастить в сторонке свою праведность».

От этой мысли обида на Илью вспыхнула еще ярче.

«Нет, врешь, не увильнешь!»

Тут вспомнился Никита, отбежавший в сторону, в тихий угол:

«Все меня впрягают в работу, а сами бегут».

Но Артамонов тотчас же уличил себя: это — неправильно, вот Алексей не убежал, этот любит дело, как любил его отец. Этот — жаден, ненасытно жаден, и все у него ловко, просто. Он вспомнил, как однажды, после пьяной драки на фабрике, сказал брату:

— Портится народ.

— Заметно,— согласился Алексей.

— Злятся все отчего-то. Как будто все смотрят одной парой глаз...

Алексей и с этим согласился; усмехаясь, он сказал:

— И это — верно. Иной раз я вспоминаю, что вот

такими же глазами Тихон разглядывал отца, когда тот на твоей свадьбе с солдатами боролся. Потом сам стал бороться. Помнишь?

— Ну, что там Тихон? Это — убогий.

Тогда Алексей заговорил серьезно:

— Ты что-то часто говоришь об этом: портятся люди, портятся. Но ведь это дело не наше; это дело попов, учителей, ну — кого там? Лекарей разных, начальства. Это им наблюдать, чтобы народ не портился, это — их товар, а мы с тобой — покупатели. Все, брат, понемножку портится. Ты вот стареешь, и я тоже. Однако ведь ты не скажешь девке: не живи, девка, старухой будешь!

«Умен, бес, — подумал Артамонов старший. — Просто умен».

И, слушая бойкую, украшенную какими-то новыми прибаутками речь брата, позавидовал его живости, снова вспомнил о Никите; горбуна отец наметил утешителем, а он запутался в глупом, бабьем деле, и — нет его.

Много передумал в эту дождливую ночь Артамонов старший. Сквозь горечь его размышлений струйкой дыма пробивались еще какие-то другие, чужие мысли, их как будто нашептывал темный шумок дождя, и они мешали ему оправдать себя.

— А в чем я виноват? — спрашивал он кого-то и, хотя не находил ответа, почувствовал, что этот вопрос не лишний. На рассвете он внезапно решил съездить в монастырь к брату; может быть, там, у человека, который живет в стороне от соблазнов и тревог, найдется что-нибудь утешающее и даже решительное.

Но подъезжая на паре почтовых лошадей к монастырю, разбитый тряской по проселочной дороге, он думал:

«Это — просто, в уголке стоять; нет, ты побегай по улице! В погребе огурец не портится, а на солнце — живо гниет».

Он не видел брата уже четыре года; последнее свидание с Никитой было скучно, сухо: Петру показалось, что горбун смущен, недоволен его приездом; он ежился, сжимался, прячась, точно улитка в раковину;

говорил кисленьким голосом не о боге, не о себе и родных, а только о нуждах монастыря, о богомольцах и бедности народа; говорил нехотя, с явной натугой. Когда Петр предложил ему денег, он сказал тихо и небрежно:

— Настоятелю дай, мне не надо.

Было видно, что все монахи смотрят на отца Никодима почтительно; а настоятель, огромный, костлявый, волосатый и глухой на одно ухо, был похож на лешего, одетого в рясу; глядя в лицо Петра жутким взглядом черных глаз, он сказал излишне громко:

— Отец Никодим — украшение бедной обители нашей.

Монастырь, спрятанный на невысоком пригорке, среди частокола бронзовых сосен, под густыми кронами их, встретил Артамонова будничным звоном жиденьких колоколов, они звали к вечерней службе. Привратник, прямой и длинный, как шест, с маленькой, ненужной, детской головкой, в скуфейке, выгоревшей, измятой, отворив ворота, пробормотал, заикаясь, захлебываясь:

— Д-до-б-бро...

И сразу, со свистом, выдохнул:

— П-пож-жаловать.

Сизосиняя туча, покрыв половину неба, неподвижно висела над монастырем, от нее все кругом придавлено густой, сыровато душной скукой, медный крик колоколов был бессилен поколебать ее.

— Одному не поднять,— виновато сказал служка гостиницы, попробовав вытащить из кибитки ящик с подарками Никите, и стукнул по ящику маленьким, черным кулаком.

Пыльный и усталый, Петр медленно пошел в сад к белой келье брата, уютно спрятанной среди вишен и яблонь; шел и думал, что напрасно он приехал сюда, лучше бы ехать на ярмарку. Тряская, лесная дорога, перепутанная корневищем, взболтала, смешала все горестные думы, заменив их нудной тоской, желанием отдыха, забытья.

«Кутнуть бы хорошенько».

Он увидел брата сидящим на скамье, в полукружии

молодых лип, перед ним, точно на какой-то знакомой картинке, расположилось человек десять богомолов: чернобородый купец в парусиновом пальто, с ногой, обернутой тряпками и засунутой в резиновый ботик; толстый старик, похожий на скопца-менялу; длинноволосый парень в солдатской шинели, скуластый, с рыбьими глазами; столбом стоял, как вор пред судьей, дремовский пекарь Мурзин, пьяница и буян, и хрипло говорил:

— Правильно: бог — далеко.

Чертя по утоптанной земле беленьким посошком, не глядя на людей, Никита поучал:

— И чем ниже человек, тем выше от него бог, гонимый смрадом гниения нашего во грехах.

«Утешает», — подумал Артамонов старший и мысленно усмехнулся.

— Бог — видит: бездельно веруем; а без дел вера — на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чем молим? Всё о мелких пустяках. Молиться надобно, а все-таки...

Он поднял глаза, с минуту молча смотрел на брата, пристально, снизу вверх. И медленно, как большую тяжесть, поднимал посох, как бы намереваясь ударить им кого-то. Горбун встал, бессильно опустил голову, осеняя людей крестом, но, вместо молитвы, сказал:

— Вот — братец приехал ко мне.

Безволосый старик, нехорошо округлив медные глаза, посмотрел на Петра и размашисто, с явной нарочитостью, перекрестился.

— Идите с богом,— прибавил Никита.

Люди пошли вразброд, как стадо с пастбища, старик подхватил под локоть купца с больною ногой, пекарь Мурзин взял его под другой локоть.

— Ну, здравствуй. Благослови.

Длинной рукою, окрыленной черным рукавом рясы, отец Никодим отвел протянутые к нему сложенные горстью руки брата и сказал тихо, без радости:

— Не ждал.

Махнув посохом в направлении кельи, он пошел впереди брата, шел толчками, разбрасывая кривые ноги, держа одну руку на груди, у сердца.

— Постарел ты,— смущенно заметил Петр.

— На то живем. Ноги болеть стали. Место наше сырое.

Казалось, что Никита стал еще более горбат; угол его спины и правое плечо приподнялись, согнули тело ближе к земле и, принизив его, сделали шире; монах был похож на паука, которому оторвали голову, и вот он слепо, криво ползет по дорожке, по хряскому щебню. В тесной, чистенькой келье отец Никодим стал побольше, но еще страшней; когда он снял клобук, матово, точно у покойника, блеснул его полуголый, как бы лишенный кожи, костяной череп; на висках, за ушами, на затылке повисли неровные пряди серых волос. Лицо у него было тоже костяное, цвета воска; всюду на костях лица не хватало мяса; выцветшие глаза не освещали его, взгляд их, казалось, был сосредоточен на кончике крупного, но дряблого носа, под носом беззвучно шевелились темные полоски иссохших губ, рот стал еще больше, разделял лицо глубокой впадиной, и особенно жутко неприятна была серая плесень волос на верхней губе.

Тихо, точно прислушиваясь к чему-то, и медленно, как бы с трудом вспоминая слова, монах говорил пухлолицему парню келейнику, похожему на банщика:

— Самовар. Хлеба. Меду.

— Как тихо говоришь.

— Зубы выкрошились.

Монах сел к столу в деревянное, окрашенное белой краской кресло.

— Живете?

— Живем.

— Тихон жив?

— Жив. Что ему?

— Давно не был он у меня.

Замолчали. Никита, двигая рукою, шуршал рясой, этот тараканий шорох еще более сгущал скуку Петра.

— Я тебе гостинцев привез. Скажи, чтоб ящик притащили. Там вино есть. Разрешают у вас вино?

Брат, вздохнув, ответил:

— У нас — не строго. У нас — трудно. Даже и пьяницы завелись с той поры, как народ усердно стал по-

сещать обитель. Пьют. Что делать? Дышит мир и отравляет. Монахи — тоже люди.

— Слышал я — к тебе много людей ходят?

— По неразумию это,— сказал монах.— Да, ходят. Кружатся. Праведности ищут, праведника. Указания: как жить? Жили, жили, а — вот... Не умеем. Терпенья нет.

Чувствуя, что слова монаха тревожат его, Артамонов старший проворчал:

— Баловство. Крепостное право терпели, а воли не терпят! Слабо взнузданы.

Никита промолчал.

— При господах — не шлялись, не бродяжили.

Горбун мельком взглянул на него и опустил глаза.

Так, с трудом находя слова, прерывая беседу длительными паузами, они говорили до поры, пока келейник принес самовар, душистый липовый мед и теплый хлеб, от которого еще поднимался хмельной парок. Внимательно смотрели, как белобрысый келейник неуклюже возился на полу, вскрывая крышку ящика. Петр поставил на стол банку свежей икры, две бутылки.

— Портвейн,— прочитал Никита.— Это вино настоятель любит. Умный человек. Много понимает.

— А вот я — мало понимаю,— вызывающе признался Петр.

— Сколько надо — понимаешь и ты, а больше-то — зачем? Больше нужного — понимать вредно.

Монах осторожно вздохнул. В его словах Петру послышалось что-то горькое. Ряса грязно и масляно лоснилась в сумраке, скупо освещенном огоньком лампады в углу и огнем дешевенькой, желтого стекла лампы, на столе. Приметив, с какой расчетливой жадностью брат высосал рюмку мадеры, Петр насмешливо подумал:

«Толк знает».

После каждой рюмки Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, макал его в мед и не торопясь жевал; тряслась его серая, точно выщипанная бороденка. Незаметно было, что вино охмеляло монаха, но мутноватые глаза его посветлели, оставаясь все так же сосредоточены на кончике носа. Петр пил

осторожно, не желая показаться брату пьяным, пил и думал:

«Про Наталью — не спрашивает. И прошлый раз не спросил. Стыдится. Ни о ком не спрашивает. Мирские. А он — праведник. Его — люди ищут».

Сердито шаркнув бородой по жилету, дернув себя за ухо, он сказал:

— Ловко ты укрылся тут. Хорошо.

— Раньше было хорошо, теперь — хуже, богомолов много. Приемы эти...

— Приемы? — Петр усмехнулся.— Как у зубного доктора.

— Хочу перевестись поглуше куда-нибудь,— сказал монах, бережно наливая вино в рюмки.

— Где спокойнее,— добавил Петр и снова усмехнулся, а монах высосал вино, облизал губы темненьким, тряпичным языком и заговорил, качнув костяною головой:

— Очень заметно растет число обеспокоенного народа. Прячутся, скрыться хотят от забот...

— Этого я не вижу,— возразил Петр, зная, что говорит неправду. «Это ты спрятался»,— хотелось ему сказать.

— А тревоги, тенью, за ними.

На языке Петра сами собою вспухали слова упреков; ему хотелось спорить, даже прикрикнуть на брата, и, думая о сыне, он сказал сердитым голосом:

— Человек сам тревог ищет, сам нужды хочет! Делай свое дело, не форси умом — проживешь спокойно!

Но брат, должно быть, не слышал его слов, оглушенный своими мыслями; он вдруг тряхнул угловатым телом, точно просыпаясь; ряса потекла с него черными струйками, кривя губы, он заговорил очень внятно и тоже как будто сердясь:

— Приходят, просят: научи! А — что я знаю, чему научу? Я человек не мудрый. Меня — настоятель выдумал. Сам я — ничего не знаю, как неправильно осужденный. Осудили: учи! А — за что осудили?

«Намекает, — сообразил Артамонов старший.— Жаловаться хочет».

Он понимал, что у Никиты есть причины жаловаться на его судьбу, он и раньше, посещая его, ожидал этих жалоб. И, подергав себя за ухо, он внушительно предупредил брата:

— На судьбу многие жалуются, только это — ни к чему.

— Так; довольных — не заметно,— сказал горбун, прицеливаясь глазами в угол на огонь лампады.

— А тебе еще покойник-родитель наказывал: утешай! Будь утешителем.

Никита усмешливо растянул рот, собрал серую бородку свою в горсть и стер ею усмешку, продолжая сеять в сумрак слова, которые, толкая Петра, возбуждали в нем и любопытство и настороженное ожидание опасного.

— Они тут внушают мне и людям, будто я мудрый; это, конечно, ради выгоды обители, для приманки людей. А для меня — это должность трудная. Это, брат, строгое дело! Чем утешать-то? Терпите, говорю. А — вижу: терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что надеяться? Богом не утешаются. Тут ходит пекарь...

— Это — наш, Мурзин, пьяница он,— сказал Артамонов старший, желая отвести, оттолкнуть что-то.

— Он уже мнит себя судьей богу, для него уж бог миру не хозяин. Теперь таких, дерзких, немало. Тут еще безбородый один,— заметил ты? Это — злой человек, этот всему миру недруг. Приходят, пытают. Что им скажешь? Они затем приходят, чтобы смущать.

Монах говорил все живее. Вспоминая, каким видел он брата в прежние посещения, Петр заметил, что глаза Никиты мигают не так виновато, как прежде. Раньше ощущение горбуном своей виновности успокаивало — виноватому жаловаться не надлежит. А теперь вот он жалуется, заявляет, что неправильно осужден. И старший Артамонов боялся, что брат скажет ему:

«Это меня осудил ты!»

Нахмурясь, играя цепочкой часов, он подыскивал слова самозащиты.

— Да,— говорил горбун, и казалось, что втайне он доволен тем, на что жалуется.— Люди все назойливее,

мысли у них дерзкие. Недавно жил у нас, недели две, ученый, молодой еще, но как будто не в себе, испуганный человек. Настоятель внушает мне: «ты, говорит, укрепи его простотой твоей, ты, говорит, скажи ему вот что и вот как». А я на чужие мысли не памятлив. Он, ученый-то, часами из меня жилы тянул, говорит и говорит, а я даже слов его не понимаю, не то что мысли. «Дьявола, говорит, владыкой плоти нашей нельзя признать, это будет двоебожие и оскорбление тела Христова, коему причащаемся: «Тело Христово приимите, источника бессмертного ядите». Богохулит: «Пусть, говорит, будет бог с рогами, но чтобы — один, иначе невозможно жить». Замучил он меня, забыл я все наущения отца Феодора, кричу: «Плоть твоя — видоизменение, а дух — уничтожение». Настоятель после ругал меня: «Что ты, говорит, какую кощунственную бессмыслицу сболтнул?» Да, вот как...

Рассказ показался Петру смешным и, выставив брата в жалком виде, несколько успокоил Артамонова старшего.

— О боге — трудно говорить,— проворчал он.

— Трудно,— согласился отец Никодим и спросил масляно, горько:— Помнишь, отец учил: мы — люди чернорабочие, высока для нас премудрость эта?

— Помню.

— Да. Отец Феодор внушает: «Читай книги!» Я—читаю, а книга для меня, как дальний лес, шумит невнятно. Сегодняшнему дню книга не отвечает. Теперь возникли такие мысли — их книгой не покроешь. Сектант пошел отовсюду. Люди рассуждают, как сны рассказывают, или — с похмелья. Вот — Мурзин этот...

Монах выпил портвейна, пожевал хлеба и, скатав мякиш в небольшой шарик, стал гонять его пальцем по столу, продолжая:

— Отец Феодор говорит: «Вся беда — от разума; дьявол разжег его злой собакой, дразнит, и собака лает на все зря». Может быть, это и правда, а — согласиться обидно. Тут есть доктор, простой человек, веселый, он иначе думает: разум — дитя, ему всё — игрушки, всё — забавно; он хочет доглядеть, как устроено и то, и это, и что внутри. Ну, конечно, ломает...

— Пожалуй — опасно ты говоришь, — заметил Петр. Слова брата снова тревожно толкали, раскачивали его, удивляя и пугая своей неожиданностью, остротой. Ему снова захотелось подавить Никиту, принизить его.

«Напился монах»,— попробовал он успокоить себя.

В келье стало душно, стоял кисленький запах углей и лампадного масла, запах, гасивший мысли Петра. На маленьком, черном квадратике окна торчали листья какого-то растения, неподвижные, они казались железными. А брат, похожий на паука, тихо и настойчиво плел свою паутину.

— Все мысли — опасны. Особенно — простые. Возьми Тихона.

— Полуумный.

— Нет, напрасно! У него разум — строгий. Я вначале даже боялся говорить с ним — и хочется, а — боюсь! А когда отец помер — Тихон очень подвинул меня к себе. Ты ведь не так любил отца, как я. Тебя и Алексея не обидела эта несправедливая смерть, а Тихона обидела. Я ведь тогда не на монахиню рассердился за глупость ее, а на бога, и Тихон сразу приметил это. «Вот, говорит, комар живет, а человек...»

— Бредишь ты! — строго заметил Петр.— Выпил лишнее. Какая монахиня?

Никита настойчиво продолжал:

— Тихон говорит: если бог миру хозяин, так дожди должны идти во-время, как полезно хлебу и людям. И не все пожары — от человека; леса — молния зажигает. И зачем было Каину грешить, на смерть нашу? На что богу уродство всякое; горбатые, например, на что ему?

«Ага, вот оно что!» — подумал Петр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на бога очень успокаивают его; это хорошо, что монах не жалуется на родных.

— Каина — нельзя понять. Этим Тихон меня, как на цепь приковал. Со дня смерти отца у меня и началось. Я думал: уйду в монастырь — погаснет. А — нет. Так и живу в этих мыслях.

— Прежде ты об этом молчал...

— Всего сразу не скажешь. Да, я бы, может, всю жизнь молчал, но — богомольцы мешают. Совесть тревожат. И — опасно, вдруг выскользнет Тихоново в моих-то речах? Нет, он человек умный, хоть, может, я и не люблю его. Он и про тебя думает: вот, говорит, трудился человек для детей, а дети ему чужие...

— Это еще что? — сердито спросил Петр.— Что он может знать?

— Знает. Дело, говорит, обман...

— Слышал я... Его, дурака, прогнать нужно, да — много знает он о семейном, нашем...

Артамонов сказал это, желая напомнить Никите о тягостной ночи, когда Тихон вынул его из петли, но думая о мальчике Никонове. Монах не понял намека; он поднес рюмку ко рту, окунул язык в вино и, облизав губы, продолжал жестяными словами:

— Тихона тоже обидел кто-то, он и оторвался от всех, как разоренный...

Нужно было отвести монаха от этих мыслей.

— Что ж ты теперь, не веришь, что ли, в бога-то? — спросил он и удивился: он хотел спросить ядовито, а вышло как-то не так.

— Трудно понять, кто теперь верит,— не сразу ответил монах.— Думают все — много, а веры незаметно. Думать-то не надо, если веришь. Этот, который о боге с рогами говорил...

— Брось,— посоветовал Петр, оглянувшись.— Все это — от скуки, от безделья. Запрячь бы всех в железные хомуты.

— Нет, в двоих верить нельзя,— настойчиво сказал отец Никодим.

Уже второй раз на колокольне били в колокол; мерные удары торкались в черное стекло окна. Петр спросил:

— На службу пойдешь?

— Не хожу. Ноги стоять не дают.

— Тут за нас молишься?

Монах не ответил.

— Ну, мне бы уснуть, устал я в дороге.

Никита молча уперся длинными руками в ручки кресла, осторожно поднял угловатое тело свое, позвал:

— Митя. Митрий?

И снова опустился, виновато сказав;

— Прости: забыл я, келейник-то мой в гостинице спит. Услал я его; хотелось свободно поговорить, а они тут доносчики все, ябедники...

Он ненужно и многословно объяснил брату путь в гостиницу, и когда Петр вышел во тьму, под холодненький, пыльный дождь, то подумал:

«Не хотелось болтуну, чтоб я ушел».

И внезапно, со знакомым страхом, Артамонов старший почувствовал, что снова идет по краю глубокого оврага, куда в следующую минуту может упасть. Он ускорил шаг, протянул руки вперед, щупая пальцами водянистую пыль ночной тьмы, неотрывно глядя вдаль, на жирное пятно фонаря.

«Нет,— поспешно думал он, спотыкаясь,— все это не надо мне. Завтра же уеду. Не надо. Что случилось? Илья воротится! Нет, надобно твердо жить. Вон как Алексей разыгрался. Он и обыграть меня может».

Об Алексее он думал насильно, потому что не хотел думать о Никите, о Тихоне. Но когда он лег на жесткую койку монастырской гостиницы, его снова обняли угнетающие мысли о монахе, дворнике. Что это за человек, Тихон? На все вокруг падает его тень, его слова звучат в ребячливых речах сына, его мыслями околдован брат.

«Утешитель! — думал он о брате.— А вот Серафим, простой плотник, умеет утешать».

Не спалось, покусывали комары, за стеною бормотали в три голоса какие-то люди, Петру подумалось, что это, должно быть, пекарь Мурзин, купец с больною ногой и человек с лицом скопца.

«Пьянствуют, наверное».

Монастырский сторож изредка бил колотушкой в чугунную доску, потом вдруг, очень торопливо, как бы опоздав, испугавшись, заблаговестили к заутрене, и под этот звон Петр задремал.

Брат пришел к нему таким, как он видел его вчера, в саду, с тем же чужим и злонамеренным взглядом вкось и снизу вверх. Артамонов старший торопливо умылся, оделся и приказал служке, чтоб дали лошадь до ближайшей почтовой станции.

— Что так скоро? — спросил монах, не удивляясь. — Я думал, — поживешь здесь.

— Дело не позволяет.

Пили чай. Петр долго придумывал: о чем бы спросить брата? И — вспомнил:

— Значит — уходить хочешь отсюда?

— Думаю. Не отпускают.

— Что же это они?

— Я выгоден им. Полезен.

— Так. А — куда же ты?

— Может — странствовать буду.

— С больными-то ногами?

— И безногие двигаются.

— Это — верно, двигаются, — согласился Петр.

Помолчали. Затем Никита сказал:

— Тихону поклонись.

— Еще кому?

— Всем.

— Ладно. А что ж ты не спросишь, как Алексей живет?

— Что спрашивать! Я — знаю, он — умеет. Я, может быть, скоро уйду отсюда.

— Зимой не уйдешь.

— Почему? И зимой ходят.

— Верно, ходят, — снова согласился Петр и предложил брату денег.

— Давай, на починку мельницы пойдут. К настоятелю не зайдешь?

— Некогда, лошадь подана.

Прощаясь, братья обнялись. Обнимать Никиту было неудобно. Он не благословил брата, правая рука его запуталась в рукаве рясы, и Петр подумал, что запуталась она нарочно. Упираясь горбом в живот его, Никита глухо попросил:

— Ты прости, ежели я вчера лишнее что-нибудь сказал.

— Ну, что там! Мы — братья.

— Думаешь, думаешь по ночам-то...

— Да, да! Ну, прощай...

Выехав за ворота монастыря, Петр оглянулся и на белой стене гостиницы увидал фигуру брата, похожую на камень.

— Прощай,— проворчал он, сняв фуражку, голову его обильно посолил мелкий дождь. Ехали сосновым лесом, было очень тихо, только хвоя сосен стеклянно звенела под бисером дождя. На козлах брички подпрыгивал монах, а лошадь была рыжая, с какими-то лысыми ушами.

«О чем говорят! — думал Петр. — Бог дожди не во-время посылает. Это всё со зла, от зависти, от уродства. От лени. Заботы нет. Без заботы человек — как собака без хозяина».

Петр оглянулся, поеживаясь, нашел, что дождь идет действительно не во-время, и снова, серым облаком, его окутали невеселые думы. Чтоб избавиться от них, он пил водку на каждой станции.

Вечером, когда вдали показался дымный город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд, свистнул, обдал паром и врезался под землю, исчез в какой-то полукруглой дыре.

III

Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Петр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх; не верилось, что все, что воскрешала память, он видел наяву и сам кипел в огромном, каменном котле, полном грохота, рева музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал все это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке; на синем, бритом лице его были влеплены выпуклые, совиные глаза; человек этот шлепал толстыми губами и, обнимая, толкая Артамонова, орал:

— Дурак,— молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!

Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают

провожать богатых покойников в могилы. Петр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нем мороженое, и человек, рыдая, говорил:

— Пойми рев русской души! Мой отец был священник, а я — прохвост!

Голос у него был густой, трубный, но мягкий, он обливал всех людей темным потоком неслыханных слов, и слова эти неотразимо волновали.

— Истление плоти! — кричал он.— Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощай телесный бунт, Петя! Не согрешив — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Омой душу! В баню ходим, тело моем? А — душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душе, святой, великой!

Петр тоже плакал, растроганный, и бормотал:

— Сирота она, душа, приемыш — верно! Забыта. Не жалеем.

И все люди кричали:

— Верно! Правильно!

А лысый, рыжебородый человек с раскаленным лицом и лиловыми ушами, кругленький, верткий, крутился, точно кубарь, исступленно, по-бабьи взвизгивая:

— Степа — правда! Обожаю тебя. Смертельно люблю. Три штучки смертельно люблю: тебя, кисленькое и правду! О душе — правду!

И тоже плакал и пел:

Смертию смерть поправ.

Петр подпевал ему словами Антона-дурачка:

Кибитка потерял колесо.

Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из темного, шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной: в знойный, будний день на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый,

костлявый, как смерть, старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею, задрав голову, девочка лет двенадцати в измятом, синеньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся голосом поет:

И не жду от жизни ниче-во я...
И я ищу свободы и покоя...

Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку с лиловыми ушами:

— Душа — певчая! Это он — верно!

— Степа? — крикливо спрашивал рыжебородый. — Степа все знает! У него — ключи ко всякой душе!

И, раскаляясь все более, рыжебородый визжал:

— Степа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов — вези нас в вертеп неприступный! Все допускаю...

Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников, и всюду, куда бы он ни являлся со своим пьяным стадом, грохотала музыка, звучали песни, то — заунывные, до слез надрывавшие душу, то — удалые, с бешеной пляской; от музыки оставались в памяти слуха только глухо бухающие удары в большой барабан и тонкий свист какой-то отчаянной дудочки. Когда пели тягучие, грустные песни, казалось, что каменные стены трактиров сжимаются и душат, а когда хор пел бойко, удало и пестро одетые молодцы плясали — стены точно ветер колебал и раздувал. Буйно качало, перебрасывая от радости к восхищению печалью, и минутами Петра Артамонова обнимал и жег такой восторг, что ему хотелось сделать что-то необыкновенное, потрясающее, убить кого-нибудь и, упав к ногам людей, стоять на коленях пред ними, всенародно взывая:

«Судите меня, казните страшной казнью!»

Были на «Самокате», в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми, лакеями медленно вертелся; оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Круг пола вертелся и показывал в одном углу кучу неистовых, меднотрубных музыкантов; в другом — хор, толпу разноцветных женщин с венками на

головах; в третьем на посуде и бутылках буфета отражались огни висячих ламп, а четвертый угол был срезан дверями, из дверей лезли люди и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивая руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то.

Друг человеческий, черный Степа, объяснял Артамонову:

— Глупо, а — хорошо! Пол — на брусьях, как блюдечко на растопыренных пальцах, брусья вкреплены в столб, от столба, горизонтально, два рычага, в каждый запряжена пара лошадей, они ходят и вертят пол. Просто? Но — в этом есть смысл. Петя, помни: во всем скрыт свой смысл, увы!

Он поднимал палец к потолку, на пальце сверкал волчьим глазом зеленоватый камень, а какой-то широкогрудый купец с собачьей головою, дергая Артамонова за рукав, смотрел на него в упор, остеклевшими глазами мертвеца, и спрашивал громко, как глухой:

— А что скажет Дуня, а? Ты — кто?

Не ожидая ответа, он спрашивал другого соседа:

— Ты — кто? А что я скажу Дуне? А?

Откидывался на спинку стула, фыркал:

— Ф-фу, чорт!

И кричал неистово:

— Айда в другое место!

Потом он оказался кучером, сидел на козлах коляски, запряженной парой серых лошадей, и громогласно оповещал всех прохожих, встречных:

— К Пауле едем! Айда с нами!

Ехали под дождем, в коляске было пять человек, один лежал в ногах Артамонова и бормотал:

— Он меня обманул — я его обману. Он меня — я его...

На площади, у холма, похожего на каравай хлеба, коляска опрокинулась, Петр упал, ушиб голову, локоть и, сидя на мокром дерне холма, смотрел, как рыжий с лиловыми ушами лез по холму, к ограде мечети, и рычал:

— Прочь, хочу в татара креститься, в Магометы хочу, пустите!

Черный Степан схватил его за ноги, стащил вниз, куда-то повел; из лавок, из караван-сарая сбежалась толпа персов, татар, бухарцев; старик в желтом халате и зеленой чалме грозил Петру палкой.

— Урус, шайтан...

Меднолицый полицейский поставил Петра на ноги, говоря:

— Скандалы не разрешаются.

Съехались извозчики, усадили пьяных и повезли; впереди, стоя, ехал друг человеческий и что-то кричал в кулак, как в рупор. Дождь прекратился, но небо было грозно черное, каким никогда не бывает наяву; над огромным корпусом караван-сарая сверкали молнии, разрывая во тьме огненные щели, и стало очень страшно, когда копыта лошадей гулко застучали по деревянному мосту через канал Бетанкура,— Артамонов ждал, что мост провалится и все погибнут в неподвижно застывшей, черной, как смола, воде.

В разорванных, кошмарных картинах этих Артамонов искал и находил себя среди обезумевших от разгула людей, как человека почти незнакомого ему. Человек этот пил насмерть и алчно ждал, что вот в следующую минуту начнется что-то совершенно необыкновенное и самое главное, самое радостное,— или упадешь куда-то в безграничную тоску, или поднимешься в такую же безграничную радость, навсегда.

Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это — женщина, Паула Менотти. Он видел ее в большой, пустой комнате с голыми стенами; треть комнаты занимал стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вазами цветов и фрукт, серебряными ведерками с икрой и шампанским. Человек десять рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом; среди нескольких пустых стульев один был украшен цветами.

Черный Степа стоял среди комнаты, подняв, как свечу, палку с золотым набалдашником, и командовал:

— Эй, свиньи, подождите жрать!

Кто-то глухо сказал:

— Не лай.

— Молчать! — крикнул друг человеческий.— Распоряжаюсь — я!

И почему-то вдруг стало темнее, тотчас же за дверью раздались глухие удары барабана, Степа шагнул к двери, растворил; вошел толстый человек с барабаном на животе, пошатываясь, шагая, как гусь, он сильно колотил по барабану:

— Бум, бум, бум...

Пятеро таких же солидных, серьезных людей, согнувшись, напрягаясь, как лошади, ввезли в комнату рояль за полотенца, привязанные к его ножкам; на черной, блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы. Лежала она вверх грудью, подложив руки под голову; распущенные темные волосы ее, сливаясь с черным блеском лака, вросли в крышку; чем ближе она подвигалась к столу, тем более четко выделялись формы ее тела и назойливее лезли в глаза пучки волос под мышками, на животе.

Повизгивали медные колесики, скрипел пол, гулко бухал барабан; люди, впряженные в эту тяжелую колесницу, остановились, выпрямились. Артамонов ждал, что все засмеются,— тогда стало бы понятнее, но все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина откленвалась, отрывалась от крышки рояля; казалось, что она только что пробудилась от сна, а под нею — кусок ночи, сгущенный до плотности камня; это напомнило какую-то сказку. Стоя, женщина закинула обильные и густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли; было слышно, как под ударами ее ног гудели струны.

Вошли двое: седоволосая старуха в очках и человек во фраке; старуха села, одновременно обнажив свои желтые зубы и двухцветные косточки клавиш, а человек во фраке поднял к плечу скрипку, сощурил рыжий глаз, прицелился, перерезал скрипку смычком, и в басовое пение струн рояля ворвался тонкий, свистящий голос скрипки. Нагая женщина волнисто выпрямилась, тряхнула головою, волосы перекинулись на ее нахально торчавшие груди, спрятали их; она за-

качалась и запела медленно, негромко, в нос, отдаленным, мечтающим голосом.

Все молчали, глядя на нее, приподняв вверх головы, лица у всех были одинаковые, глаза — слепые. Женщина пела нехотя, как бы в полусне, ее очень яркие губы произносили непонятные слова, масляные глаза смотрели пристально через головы людей. Артамонов никогда не думал, что тело женщины может быть так стройно, так пугающе красиво. Поглаживая ладонями грудь и бедра, она все встряхивала головою, и казалось, что и волосы ее растут, и вся она растет, становясь пышнее, больше, все закрывая собою так, что кроме нее уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было. Артамонов хорошо помнил, что она ни на минуту не возбудила в нем желания обладать ею, а только внушала страх, вызывала тяжкое стеснение в груди, от нее веяло колдовской жутью. Однако он понимал, что, если женщина эта прикажет, он пойдет за нею и сделает все, чего она захочет. Взглянув на людей, он убедился в этом.

«Всякий пойдет, все».

Он трезвел, и ему хотелось незаметно уйти. Он окончательно решил сделать это, услыхав чей-то громкий шопот:

— Чаруса. Омут естества. Понимаешь? Чаруса.

Артамонов знал, что чаруса — лужайка в болотистом лесу, лужайка, на которой трава особенно красиво шелковиста и зелена, но если ступить на нее — провалишься в бездонную трясину. И все-таки он смотрел на женщину, прикованный неотразимой, покоряющей силой ее наготы. И когда на него падал ее тяжелый масляный взгляд, он шевелил плечами, сгибал шею и, отводя глаза в сторону, видел, что уродливые, полупьяные люди таращат глаза с тем туповатым удивлением, как обыватели Дремова смотрели на маляра, который, упав с крыши церкви, разбился насмерть.

Черный, кудрявый Степа, сидя на подоконнике, распустив толстые губы свои, гладил лоб дрожащей рукою, и казалось, что он сейчас упадет, ударится

головою в пол. Вот он зачем-то оторвал расстегнувшийся манжет рубашки и швырнул его в угол.

Движения женщины стали быстрее, судорожней; она так извивалась, как будто хотела спрыгнуть с рояля и — не могла; ее подавленные крики стали гнусавее и злей; особенно жутко было видеть, как волнисто извиваются ее ноги, как резко дергает она головою, а густые волосы ее, взметываясь над плечами, точно крылья, падают на грудь и спину звериной шкурой.

Вдруг музыка оборвалась, женщина спрыгнула на пол, черный Степа окутал ее золотистым халатом и убежал с нею, а люди закричали, завыли, хлопая ладонями, хватая друг друга; завертелись лакеи, белые, точно покойники в саванах; зазвенели рюмки, и бокалы, и люди начали пить жадно, как в знойный день. Пили и ели они нехорошо, непристойно; было почти противно видеть головы, склоненные над столом, это напоминало свиней над корытом.

Явилась толпа цыган, они раздражающе пели, плясали, в них стали бросать огурцами, салфетками — они исчезли; на место их Степа пригнал шумный табун женщин; одна из них, маленькая, полная, в красном платье, присев на колени Петра, поднесла к его губам бокал шампанского и, звонко чокнувшись своим бокалом, предложила:

— Выпьем, рыжий, за здоровье Мити!

Была она легкая, как моль, звали ее Пашута. Она очень ловко играла на гитаре и трогательно пела:

Снилось мне утро лазурное, чистое

— и когда звонкий голос ее особенно печально выговаривал:

Снилась мне юность моя, невозвратная

— Артамонов дружески, отечески гладил ее голову и утешал:

— Не скули! Ты еще молодая, не бойся...

А ночью, обнимая ее, он крепко закрывал глаза, чтобы лучше видеть другую, Паулу Менотти.

В редкие, трезвые часы он с великим изумлением видел, что эта беспутная Пашута до смешного дорого стоит ему, и думал:

«Экая моль!»

Поражало его умение ярмарочных женщин высасывать деньги и какая-то бессмысленная трата ими заработка, достигнутого ценою бесстыдных, пьяных ночей. Ему сказали, что человек с собачьим лицом, крупнейший меховщик, тратил на Паулу Менотти десятки тысяч, платил ей по три тысячи каждый раз, когда она показывала себя голой. Другой, с лиловыми ушами, закуривая сигары, зажигая на свече сторублевые билеты, совал за пазухи женщин пачки кредиток.

— Бери, немка, у меня много.

Он всех женщин называл немками. Артамонов же стал видеть в каждой из них неприкрытое бесстыдство густоволосой Паулы, и все женщины,— глупые и лукавые, скрытные и дерзкие,— чувствовал он, враждебны ему; даже вспоминая о жене, он и в ней подмечал нечто скрыто враждебное.

«Моль»,— думал он, присматриваясь к цветистому хороводу красивых, юных женщин, очень живо и ярко воскрешаемых памятью.

Он не мог понять: что же это, как же? Люди работают, гремят цепями дела, оглушая самих себя только для того, чтоб накопить как можно больше денег, а потом — жгут деньги, бросают их горстями к ногам распутных женщин? И все это большие, солидные люди, женатые, детные, хозяева огромных фабрик.

«Отец, пожалуй, так же бы колобродил»,— почти уверенно думал он. Самого себя он видел не участником этой жизни, этих кутежей, а случайным и невольным зрителем. Но эти думы пьянили его сильнее вина, и только вином можно было погасить их. Три недели прожил он в кошмаре кутежей и очнулся лишь с приездом Алексея.

Артамонов старший лежал на полу, на жиденьком, жестком тюфяке; около него стояло ведро со льдом, бутылки кваса, тарелка с квашеной капустой, обильно

сдобренной тертым хреном. На диване, открыв рот и, как Наталья, подняв брови, разметалась Пашута, свесив на пол ногу, белую, с голубыми жилками и ногтями, как чешуя рыбы. За окном тысячами жадных пастей ревело всероссийское торжище.

Сквозь похмельный гул в голове и ноющую боль отравленного тела Артамонов угрюмо вспоминал события и забавы истекшей ночи, когда вдруг, точно из стены вылез, явился Алексей. Прихрамывая, постукивая палкой, он подошел и рассыпался словами:

— Что — опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал, да к утру сам завертелся.

Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду; подскочил к дивану, пошлепал Пашуту по плечу.

— Вставай, барышня!

Не сразу открыв глаза, барышня проворчала:

— К чорту. Отстань.

— Это ты пойдешь к чорту, — не сердито сказал Алексей, приподнял ее за плечи, посадил, потряс и указал на дверь:

— Брысь!

— Не тронь ее,— сказал Петр; брат усмехнулся, успокоил:

— Ничего; позовем — придет!

— О, черти,— сказала женщина, уже покорно надевая кофту.

Алексей командовал, как доктор:

— Вставай, Петр, сними рубаху, вытрись льдом!

Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела ее на встрепанную голову, но, посмотрев в зеркало над диваном, сказала:

— Очень прекрасная королева!

И, швырнув шляпку на пол, под диван, длительно зевнула:

— Ну, прощай, Митя! Помни: я — в номерах Симанского, номер тринадцать.

Петру стало жалко ее, не вставая с пола, он сказал брату:

— Дай ей.

— Сколько?

— Ну... пятьдесят.

— Э! Много.

Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил ее, притворил дверь.

— Скупо дал,— вызывающе заметил Петр.— Она вчера за шляпу больше заплатила.

Алексей сел в кресло, сложил руки на палке, оперся на них подбородком и сухо, начальнически спросил:

— Ты что же делаешь?

— Пью,— задорно ответил старший, встал и начал обтирать тело льдом, покрякивая.

— Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что?

— А что?

Алексей подошел к нему и, глядя, как на незнакомого, тихим голосом, с присвистом спросил:

— Забыл? На тебя жалоба подана, ты адвокату морду разбил, полицейского столкнул в канал...

Он так долго перечислял проступки, что Артамонову старшему показалось:

«Врет. Пугает».

Он спросил:

— Какому адвокату? Ерунда.

— Не ерунда, а — черному, этому — как его?

— Мы с ним и раньше дрались,— сказал Петр, трезвея, но брат еще строже продолжал:

— А за что ты излаял почтенных людей? И своих?

— Я?

— Ты, вот этот! Жену ругал, Тихона, меня, мальчишку какого-то вспомнил, плакал. Кричал: Авраам, Исаак, баран! Что это значит?

Петра обожгло страхом, он опустился на стул.

— Не знаю. Пьян был.

— Это — не причина! — почти крикнул Алексей, подпрыгивая, точно он скакал на хромой лошади.— Тут — другое: «что у трезвого на уме, у пьяного — на языке», вот что тут! О семейном в кабаках не кричат. Почему — Авраам, жертвоприношение и прочая дрянь? Ты ведь дело конфузишь, ты на меня тень наводишь. Что ты, как в бане, разделся? Хо-

рошо еще, что был при скандале этом Локтев, приятель мой, и догадался свалить тебя с ног коньяком, а меня вот телеграммой вызвал. Он и рассказал мне все это. Сначала, говорит, все смеялись, а потом начали вслушиваться,— что такое человек орет?

— Все орут,— пробормотал Петр, подавленный и снова пьянея от слов брата, а тот говорил почти шопотом:

— Все — об одном, а ты — обо всем! Ладно, что Локтев догадался напоить всех в лоск. Может — забудут. Но ведь наше дело политическое: сегодня Локтев — друг, а завтра — лютый враг.

Петр сидел на стуле, крепко прижав затылок к стене; пропитанная яростным шумом улицы, стена вздрагивала; Петр молчал, ожидая, что эта дрожь утрясет хмельной хаос в голове его, изгонит страх. Он ничего не мог вспомнить из того, о чем говорил брат. И было очень обидно слышать, что брат говорит голосом судьи, словами старшего; было жутко ждать, что еще скажет Алексей.

— Что с тобой? — допытывался он, все подпрыгивая.— Сказал, что едешь к Никите...

— Я у него был.

— И я был. Когда на депешу ответили, что тебя там нет, я, конечно, туда поскакал. Испугались все; ведь — на земле живем, могут и убить.

— Завелась во мне какая-то дрянь,— тихо, виновато сознался Петр.

— Так ее на люди выносить надо? Пойми: ты на дело наше тень бросаешь! Какое там у тебя жертвоприношение? Что ты — персиянин? С мальчиками возишься? Какой мальчик?

Приглаживая волосы на голове и бороду обеими руками, Петр сказал сквозь пальцы:

— Илья... все из-за него...

И медленно, нерешительно, точно нащупывая тропу в темноте, он стал рассказывать Алексею о ссоре с Ильей; долго говорить не пришлось; брат облегченно и громко сказал:

— Ф-фу! Ну, это — ничего! А Локтев понял поазиатски, скандально. Значит — Илья? Ну, брат, ты

прости, только это — неразумно. Купечество должно всему учиться, на все точки жизни встать, а ты...

Он очень долго и красноречиво говорил о том, что дети купцов должны быть инженерами, чиновниками, офицерами. Оглушающий шум лез в окно; подъезжали экипажи к театру, кричали продавцы прохладительных напитков и мороженого; особенно невыносимо грохотала музыка в павильоне, построенном бразильцами из железа и стекла, на сваях, над водою канала. Удары барабана напоминали о Пауле Менотти.

— Какая-то дрянь завелась во мне,— повторил Артамонов старший, щупая ухо, а другою рукой наливая коньяку в стакан лимонада; брат взял бутылку из руки его, предупредив:

— Смотри, опять напьешься. Вот у меня Мирон учится на инженера,— сделай милость! За границу хочет ехать — пожалуйста! Все это — в дом, а не из дома. Ты — пойми, наше сословие — главная сила...

Петру ничего не хотелось понимать. Под оживленный говорок брата он думал, что вот этот человек достиг чем-то уважения и дружбы людей, которые богаче и, наверное, умнее его, они ворочают торговлей всей страны, другой брат, спрятавшись в монастыре, приобретает славу мудреца и праведника, а вот он, Петр, предан на растерзание каким-то случаям. Почему? За что?

— А за распутство ты обругал почтенных людей — напрасно! — говорил Алексей уже как-то мягко, вкрадчиво.— Это — не от распутства, это от избытка силы. Адвокат — шельма, но он правильно понимает, он умный! Конечно — люди пожилые, даже старики, а озорство у них, как у мальчишек, да ведь мальчишки-то озоруют тоже от силы роста. И то возьми в расчет, что бабы у нас пресные, без перца, скучно с ними! Я не про Ольгу мою говорю, она — особенная! Есть такие глупомудрые бабы, они как бы слепы на тот глаз, который плохое видит, Ольга вот из эдаких. Ее обидеть — нельзя, она плохого не видит, злому — не верит. Ты про Наталью эдак не скажешь, а людям верно сказал про нее: домашняя машина!

— Так и сказал? — угрюмо осведомился Петр.

— Не сам же Локтев выдумал эти слова.

Хотелось еще о многом спросить брата, но Петр боялся напомнить ему то, что Алексей, может быть, уже забыл. У него возникало чувство неприязни и зависти к брату.

«Все умнеет, бес...»

Он видел в брате нечто рысистое, нахлестанное и лисью изворотливость. Раздражали ястребиные глаза, золотой зуб, блестевший за верхней, судорожной губою, седенькие усы, воинственно закрученные, веселая бородка и цепкие, птичьи пальцы рук, особенно неприятен был указательный палец правой руки, всегда рисовавший в воздухе что-то затейливое. А кургузый, железного цвета пиджачок делал Алексея похожим на жуликоватого ходатая по чужим делам.

Ему вдруг захотелось, чтоб Алексей ушел.

— Поспать надо мне,— сказал он, прикрыв глаза.

— Это — разумно, — согласился брат. — Ты уж сегодня не ходи никуда.

«Как мальчишку он меня учит»,— обиженно подумал Петр, проводив его. Пошел в угол к умывальнику и остановился, увидав, что рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и красной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале, над диваном, потом жалобно усмехнулся и снова стал вытирать куском льда лицо, шею, грудь.

«Найму извозчика, поеду в город»,— решил он, одеваясь, но, сунув руку в рукав пиджака, сбросил его на стул и крепко прижал пальцем костяную кнопку звонка.

— Чаю; завари крепче! — сказал он слуге.— Соленого дай. Коньяку.

Посмотрел из окна, широкие двери лавок были уже заперты, по улицам ползли люди, приплюснутые жаркой тьмою к булыжнику; трещал опаловый фонарь у подъезда театра; где-то близко пели женщины.

«Моль».

— Можно убрать,— сказали за спиною, он круто обернулся; в двери стояла старуха с одним глазом, с половой щеткой и тряпками в руках. Он молча вышел в коридор и наткнулся на человека в темных очках, в черной шляпе; человек сказал в щель неприкрытой двери:

— Да, да, больше ничего!

Все было нехорошо, заставляло думать, искать в словах скрытый смысл. Потом Артамонов старший сидел за круглым столом, перед ним посвистывал маленький самовар, позванивало стекло лампы над головою, точно ее легко касалась чья-то невидимая рука. В памяти мелькали странные фигуры бешено пьяных людей, слова песен, обрывки командующей речи брата, блестели чьи-то мимоходом замеченные глаза, но в голове все-таки было пусто и сумрачно; казалось, что ее пронзил тоненький, дрожащий луч и это в нем, как пылинки, пляшут, вертятся люди, мешая думать о чем-то очень важном.

Он пил горячий, крепкий чай, глотал коньяк, обжигая рот, но не чувствовал, что пьянеет, только возрастало беспокойство, хотелось идти куда-то. Позвонил. Явился какой-то туманно струящийся человек, без лица, без волос, похожий на палку с костяным набалдашником.

— Ликеру зеленого принеси, Ванька; зеленого, знаешь?

— Так точно, шартрез.

— Ты разве Ванька?

— Никак нет, Константин.

— Ну, ступай.

Когда лакей принес ликер, Артамонов спросил:

— Солдат?

— Никак нет.

— А говоришь как солдат.

— Должность сходная, повиноваться надо.

Артамонов подумал, дал ему рубль и посоветовал:

— А ты — не повинуйся. Пошли всех к...., а сам торгуй мороженым. И больше ничего!

Ликер был клейкий, точно патока, и едкий, как нашатырный спирт. От него в голове стало легче, яс-

нее, все как-то сгустилось, и, пока в голове происходило это сгущение, на улице тоже стало тише, все уплотнилось, образовался мягкий шумок и поплыл куда-то далеко, оставляя за собою тишину.

«Повиноваться надо? — размышлял Артамонов.— Кому? Я — хозяин, а не лакей. Хозяин я или нет?»

Но все размышления внезапно пресеклись, исчезли, спугнутые страхом: Артамонов внезапно увидал пред собою того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живет Алексей, как живут другие, бойкие люди: мешал ему широколицый бородатый человек, сидевший против него у самовара; он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы; а по краю бороды, около левого глаза, шевелилась большая муха; вот она переползла, точно по лицу покойника, на висок, остановилась над бровью, заглядывая в глаз.

— Что, сволочь? — спросил Артамонов врага своего; тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами.

— Ревешь? — злорадно заорал Петр Артамонов.— Запутал, меня, подлец, а сам плачешь? Самому жалко? У-у...

Схватив со стола бутылку, он с размаха ударил того по лысоватому черепу.

На треск разбитого зеркала, на грохот самовара и посуды, свалившихся с опрокинутого стола, явились люди, их было немного, но каждый раскалывался надвое, расплывался; одноглазая старуха в одну и ту же минуту сгибалась, поднимая самовар, и стояла прямо.

Сидя на полу, Артамонов слышал жалобные голоса:

— Ночь, все спят.

— Зеркальце разбили.

— Это, знаете, не фасон...

Артамонов, разводя руками, плыл куда-то и мычал:

— Муха...

На другой день к вечеру, рысцой, прибежал Алексей, заботливо, как доктор — больного или кучер — лошадь, осмотрел брата, сказал, расчесывая усы какой-то маленькой щеточкой:

— Неестественно ты разбух; в этом образе домой являться — нельзя. К тому же ты мне здесь можешь оказать помощь. Бороду следует постричь, Петр. И купи ты себе сапоги другие, сапоги у тебя — извозчичьи!

Стиснув челюсти, покорно Артамонов старший шел за братом к парикмахеру,— Алексей строго и точно объяснял, на сколько надо остричь бороду и волосы на голове; в магазине обуви он сам выбрал Петру сапоги. После этого, взглянув в зеркало, Петр нашел, что он стал похож на приказчика, а сапоги жали ему ногу в подъеме. Но он молчал, сознавая, что брат действует правильно: и волосы постричь, и сапоги переменить — все это нужно. Нужно вообще привести себя в порядок, забыть все мутное, подавляющее, что осталось от кутежа и весомо, ощутимо тяготило.

Но сквозь туман в голове и усталость отравленного, измотанного тела, он, присматриваясь к брату, испытывал все более сложное чувство, смесь зависти и уважения, скрытой насмешливости и вражды. Этот рысистый человек, тощий, с палочкой в руке, остроглазый, сверкал и дымил, пылая ненасытной жадностью к игре делом. Завтракая, обедая с ним в кабинетах лучших трактиров ярмарки, в компании именитых купцов, Петр с немалым изумлением видел, что Алексей держится как будто шутом, стараясь смешить, забавлять богачей, но они, должно быть, не замечая шутовского, явно любили, уважали Алексея, внимательно слушали сорочий треск его речей.

Огромный, тугобородый текстильщик Комолов грозил ему пальцем цвета моркови, но говорил ласково, выкатив бычьи глаза, сочно причмокивая:

— Ловок ты, Олеша, хитер, лиса! Обошел ты меня...

— Ермолай Иванович! — восторженно кричал Алексей.— Соревнование — так?

— Верно. Не зевай, ходи тузом козырей!

— Ермолай Иванович,— учусь!

Комолов соглашался:

— Учиться — надо.

— Господа! — так же восторженно, но уже вкрадчиво говорил Алексей, размахивая вилкой.— Сын мой, Мирон, умник, будущий инженер, сказывал: в городе Сиракузе знаменитейший ученый был; предлагал он царю: дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну!

— Ишь ты, серопузый...

— Переверну, говорит! Господа! Нашему сословию есть на что опереться — целковый! Нам не надо мудрецов, которые перевертывать могут, мы сами — с усами; нам одно надобно: чиновники другие! Господа! Дворянство — чахнет, оно — не помеха нам, а чиновники у нас должны быть свои и все люди нужные нам — свои, из купцов, чтоб они наше дело понимали,— вот!

Седые, лысые, дородные люди весело соглашались:

— Верно, серопузый!

А одноглазый, остроносый, костлявенький старичок, дисконтер Лосев, вежливенько хихикая, говорил:

— У Алексея Ильича умишко — мышка; все знает: где — сало, где — мало, и грызет, грызет! Его здоровье!

Поднимали бокалы, Алексей радостно чокался со всеми, а Лосев, похлопывая детской ручкой по крутому плечу Комолова, говорил:

— Умненькие среди нас заводятся.

— Всегда были! — гордо отвечал Комолов.— Родитель мой из грузчиков в люди вышел...

— Родитель твой с того начал, говорят, что богатого армянина зарезал,— посмеиваясь, сказал Лосев, а тугобородый текстильщик, захохотав, как баран, ответил:

— Враки! Это у нас по глупости говорят: если — счастлив, значит — грешен! И про тебя, Кузьма, нехороши слухи бегают...

— И про меня,— подтвердил Лосев, вздыхая.— Слухи — мухи, эх!

Артамонов старший слушал, покрякивая, много ел, старался меньше пить и уныло чувствовал себя среди этих людей зверем другой породы. Он знал: все они — вчерашние мужики; видел во всех что-то разбойное, сказочное, внушающее почтение к ним и общее с его отцом. Конечно, отец был бы с ними и в деле и в кутежах, он, вероятно, так же распутничал бы и жег деньги, точно стружку. Да, деньги — стружка для этих людей, которые неутомимо, со всею силой строгают всю землю, друг друга, деревню.

Но брат был чем-то не похож на этих больших людей, и порою, несмотря на неприязнь к нему, Петр чувствовал, что Алексей острее, умнее их и даже — опаснее.

— Господа! — исступленно, как одержимый, кричал он.— Подумайте, какая неистощимая сила рук у нас, какие громадные миллионы мужика! Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? Нигде нет! И не надобно нам никаких немцев, никаких иноземцев, мы всё сами!

— Верно,— соглашались с ним подвыпившие, горластые люди.

Он говорил о необходимости повысить пошлины на ввоз иностранных товаров, о скупке помещичьих земель, о вредности дворянских банков, он все знал, и со всем, что он говорил, люди восторженно соглашались, к удивлению Артамонова старшего.

«Верно Никита сказал, этот умеет жить»,— думал он с завистью.

Несмотря на слабость своего здоровья, Алексей тоже распутничал. У него была, видимо, постоянная и давняя любовница, москвичка, содержавшая хор певиц, дородная, вальяжная женщина с медовым голосом и лучистыми глазами. Говорили, что ей уже сорок лет, но по лицу ее, матово-белому, с румянцем под кожей, казалось, что ей нет и тридцати.

— Алешинька, сокол,— говорила она, показывая острые, лисьи зубы, и закрывала Алексея собою, как мать ребенка.

Она должна была знать, что Алексей не брезгует и девицами ее хора, она, конечно, видела это. Но отношение ее к брату было дружеское, Петр не однажды слышал, как Алексей советуется с нею о людях и делах, это удивляло его, и он вспоминал отца, Ульяну Баймакову.

«Бес»,— думал он, глядя на брата.

Даже озорство его имело какой-то особенно затейливый характер. Толстый клоун, немец Майер, показывал в цирке свинью; одетая в длиннополый сюртук, в цилиндре, в сапожках бутылками, она ходила на задних ногах, изображая купца. Публику это очень забавляло, смеялось и купечество, но Алексей отнесся иначе — он обиделся и уговаривал компанию приятелей выкрасть свинью. Подкупили конюха, выкрали свинью, и купечество торжественно съело ее мясо, приготовленное под разными соусами искуснейшим поваром гостиницы Барбатенко. Петр Артамонов смутно слышал, что клоун повесился с горя[1]. Все, что он подметил в Алексее на ярмарке, вызвало у него очень тревожные мысли.

«Жулик. Без совести. Может по миру пустить меня и сам этого не заметит. И не из жадности разорит, а просто — заиграется».

Сознание этой опасности, отрезвив его, поставило на ноги. Домой он возвращался один, Алексей проехал в Москву. Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дремову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, ямские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник, строгими рядами, недвижимо охранявший узкую полосу болотистой дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков, так же серо и скучно было в похмельной голове. Артамонов как будто похоронил кого-то очень близкого, но кто все-таки надоел ему. Было жалко покойника, но было и при-

[1] Факт описан П. Д. Боборыкиным в газете «Русский курьер», относится к 80-м годам.

ятно знать, что его уже больше не встретишь; перестал он смущать неясностью своих требований, немых упреков и всем тем, что мешало жить настоящему, живому человеку.

«Дело делать надо, больше ничего! — убеждал он себя. — Все люди делом живы. Да».

Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Спокойно пошли ясные дни бабьего лета, сменяясь грустным сиянием лунных ночей.

Просыпаясь в жемчужном сумраке утренних зорь осени, Артамонов старший слышал требовательный гудок фабрики, а через полчаса начинался ее неугомонный шорох, шопот, глуховатый, но мощный и привычный уху шум работы. С рассвета до позднего вечера у амбаров кричали мужики и бабы, сдавая лен; у трактира, на берегу Ватаракши, открытого одним из бесчисленных Морозовых, звучали пьяные песни, визжала гармоника. По двору ходил тяжелый, аккуратный, как машина, строгий к людям Тихон Вялов с метлой, с лопатой в руках, с топором; он не торопясь мел, копал, рубил, покрикивал на мужиков, на рабочих. Мелькал голубой, всегда чистенький Серафим. В доме, тоже как машина, действовала Наталья, очень довольная богатыми подарками, которые муж привез ей с ярмарки, и еще больше — его молчаливым, ровным спокойствием. Все шло гладко, казалось прочно слаженным; фабрика, люди, даже лошади — все работало как заведенное на века. И быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяца, слагались годы.

Быком, наклоня голову, Артамонов старший ходил по корпусам, по двору, шагал по улице поселка, пугая ребятишек, и всюду ощущал нечто новое, странное: в этом большом деле он являлся почти лишним, как бы зрителем. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и, кажется, увлечен им; его поведение не только отвлекало от мыслей о старшем сыне, но даже примиряло с Ильей.

«Обойдусь и без тебя, ученый. Учись».

Сытенький, розовощекий, с приятными глазами, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыль-

ные пузыри, Яков солидно носил круглое тело свое и, хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. Работницы ласково улыбались ему, он ворковал с ними, прищуриваясь сладостно, и ходил около них как-то боком, не умея скрыть под напускной солидностью задор молодого петуха. Отец дергал себя за ухо, ухмылялся и думал:

«Паулу бы тебе показать, дурачок...»

Ему нравилось, что Яков, бывая у дяди, не вмешивался в бесконечные споры Мирона с его приятелем, отрепанным, беспокойным Горицветовым. Мирон стал уже совершенно не похож на купеческого сына; худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, какими-то вензелями на плечах, он напоминал мирового судью. Ходил и сидел он прямо, как солдат, говорил высокомерно, заносчиво, и хотя Петр понимал, что племянник всегда говорит что-то умное, все-таки Мирон не нравился ему.

— Ну, брат, это хилософия,— поучительно говорил он, держа руки фертом, сунув их в карманы курточки.— Это мудрствование от хилости, от неумелости.

Артамонову старшему казалось, что и Горицветов тоже говорит не плохо, не глупо. Маленький, в черной рубахе под студенческим сюртуком, неприглядно расстегнутый, лохматый, с опухшими глазами, точно он не спал несколько суток, с темным, острым лицом в прыщах, он кричал, никого не слушая, судорожно размахивая руками, и наскакивал на Мирона:

— Вы достигнете того, что солнце будет восходить в небеса по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот, из лесов по зову машин, но — что сделаете вы с человеком?

Мирон поднимал брови, морщился и, поправляя очки, долбил сухо, мерно:

— Это — хилософия, это — стишки! Это языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь — борьба; лирика, истерика неуместны в ней и даже смешны...

Слова спорщиков были приметны, как белые голуби среди сизых; Артамонов старший думал:

«Да, вот оно: новые птицы — новые песни».

Суть спора он понимал смутно и, наблюдая за Яковом, с удовольствием видел, что сын разглаживает светлый пух на верхней губе своей потому, что хочет спрятать насмешливую улыбочку.

«Так,— думал Петр.— А что сказал бы Илья?»

Горицветов кричал:

— Заковав землю и людей в железо, сделав человека рабом машины...

Покачивая носом, Мирон говорил ему:

— Человек, о котором ты заботишься,— бездельник. Он погибнет, если завтра не поймет, что его спасение в развитии промышленности...

«У которого — правда? Который лучше?» — догадывался Петр Артамонов.

Горицветов не нравился ему еще более, чем племянник, в нем было что-то жидкое, ненадежное, он явно чего-то боялся, кричал. Бесцеремонен, как пьяный, он садился к обеденному столу раньше хозяев, судорожно перекладывал ножи и вилки, ел быстро, неблагопристойно, обжигаясь, кашляя; в нем, как в Алексее, было что-то подпрыгивающее, лишнее и, кажется, злое. Темные зрачки его воспаленных глаз смотрели слепо, с Петром Артамоновым он здоровался молча, непочтительно совал ему шершавую, горячую руку и быстро отдергивал ее. В конце концов это был какой-то ненужный человек и нельзя понять: зачем он Мирону?

— Ты, Степа, ешь, а не говори,— советовала ему Ольга, он трескуче отвечал:

— Не могу, здесь проповедуют пагубную ересь!

Петра изумляло молчаливое внимание Алексея к спорам студентов, он лишь изредка поддерживал сына:

— Правильно! Где сила, там и власть, а сила — в промышленниках, значит...

Ольга, с лучистыми морщинками на висках, с красненьким кончиком носа, отягченного толстыми, без оправы, стеклами очков, после обеда и чая садилась к пяльцам у окна и молча, пристально, бесконечно вышивала бисером необыкновенно яркие цветы. У брата Петр чувствовал себя уютнее, чем дома,

у брата было интересней и всегда можно выпить хорошего вина.

Возвращаясь домой с Яковом, отец спрашивал его:

— Понимаешь, о чем спорят?

— Понимаю,— кратко отвечал сын.

Чтоб скрыть от него свое непонимание, Артамонов старший строго допытывался:

— А о чем?

Яков всегда отвечал неохотно, коротко, но понятно; по его словам выходило, что Мирон говорит: Россия должна жить тем же порядком, как живет вся Европа, а Горицветов верит, что у России свой путь. Тут Артамонову старшему нужно было показать сыну, что у него, отца, есть на этот счет свои мысли, и он внушительно сказал:

— Если б иноземцы жили лучше нас, так они бы к нам не лезли...

Но — это была мысль Алексея, своих же не оказывалось. Артамонов обиженно хмурился. А сын как будто еще углубил обиду, сказав:

— Можно прожить и не хвастаясь умом, без этих разговоров...

Артамонов старший промычал:

— Можно и без них...

Он все чаще испытывал толчки маленьких обид и удивлений. Они отодвигали его куда-то в сторону, утверждая в роли зрителя, который должен все видеть, обо всем думать. А все вокруг незаметно, но быстро изменялось, всюду, в словах и делах, навязчиво кричало новое, беспокойное. Как-то, за чаем, Ольга сказала:

— Правда — это когда душа полна и больше ничего не хочешь.

— Верно,— согласился Петр.

Но Мирон, сверкнув очками, начал учить мать:

— Это — не правда, а — смерть. Правда в деле, в действии.

Когда он ушел, унося с собою толстый лист бумаги, свернутый в трубу, Петр заметил Ольге:

— Груб с тобою сын.

— Нисколько.

— Вижу, груб!

— Он — умнее меня,— сказала Ольга.— Я ведь необразованна, я часто глупости говорю. Дети вообще умнее нас.

В это Артамонов не мог поверить, усмехаясь, он ответил:

— Верно, ты говоришь глупости. А вот старики были умнее нас, стариками сказано: «От сыновей — горе, от дочерей — вдвое», — поняла?

Ее слова об уме детей очень задели его, она, конечно, хотела намекнуть на Илью. Он знал, что Алексей помогает Илье деньгами, Мирон пишет ему письма, но из гордости он никогда не расспрашивал, где и как живет Илья; Ольга сама, между прочим, искусно рассказывала об этом, понимая гордость его. От нее он знал, что Илья зачем-то уехал жить в Архангельск, а теперь живет за границей.

— Ну и пускай живет. Умнее будет,— поймет, что был глуп.

Порою, думая об Илье, он удивлялся упрямству сына; все кругом умнеют, чего он ждет, Илья?

Он нередко встречал в доме брата Попову с дочерью, все такую же красивую, печально спокойную и чужую ему. Она говорила с ним мало и так, как, бывало, он говорил с Ильей, когда думал, что напрасно обидел сына. Она его стесняла. В тихие минуты образ Поповой вставал перед ним, но не возбуждал ничего, кроме удивления; вот, человек нравится, о нем думаешь, но — нельзя понять, зачем он тебе нужен, и говорить с ним так же невозможно, как с глухонемым.

Да, все изменялось. Даже рабочие становятся все капризнее, злее, чахоточнее, а бабы все более крикливы. Шум в рабочем поселке беспокойней; вечерами даже кажется, что все там воют волками и даже засоренный песок сердито ворчит.

У рабочих заметна какая-то непоседливость, страсть бродяжить. Никем и ничем не обиженные парни вдруг приходят в контору, заявляя о расчете.

— Куда это вы? — спрашивал Петр.

— Поглядеть, что в других местах.

— Чего они бесятся? — спрашивал Артамонов старший брата,— Алексей с лисьими ужимочками, посмеиваясь, говорил, что рабочие волнуются везде.

— Еще у нас — хорошо, тихо, а вот в Петербурге... Чиновники, министры у нас не те, каких надо...

И дальше он говорил уже нечто такое дерзкое, глупое, что старший брат угрюмо поучал его:

— Ерунда это! Это господам выгодно власть отнять у царя, господа беднеют. А мы и безвластно богатеем. Отец у тебя в дегтярных сапогах по праздникам гулял, а ты заграничные башмаки носишь, шелковые галстуки. Мы должны быть работники царю, а не свиньи. Царь — дуб, это с него нам золотые желуди.

Алексей, слушая, усмехался и этим еще более раздражал. Артамонов старший находил, что все вообще люди слишком часто усмехаются; в этой их новой привычке есть что-то и невеселое, и глупое. Никто из них не умел однако насмешничать так утешительно и забавно, как Серафим-плотник, бессмертный старичок.

Артамонов очень подружился с Утешителем. Время от времени на него снова стала нападать скука, вызывая в нем непобедимое желание пить. Напиваться у брата было стыдно, там всегда торчали чужие люди, а он особенно не хотел показать себя пьяным Поповой. Дома Наталья в такие дни уныло сгибалась, угнетенно молчала; было бы лучше, если б она ругалась, тогда и самому можно бы ругать ее. А так она была похожа на ограбленную и, не возбуждая злобы, возбуждала чувство, близкое жалости к ней; Артамонов шел к Серафиму.

— Выпить хочу, старик!

Веселый плотник улыбался, одобрял:

— Это — обыкновенное дело, как солнышко летом! Устал ты, значит, притомился. Ну, ну, подкрепись! Дело твое — не малое, не бородавка на щеке!

Он держал для хозяина необыкновенного вкуса настойки, наливки, доставал из всех углов разноцветные бутылки и хвастался:

— Сам выдумал, а совершает одна дьяконица, вдова, перец-баба! Вот, отведай, эта — на березовой серьге с весенним соком настояна. Какова?

Присаживался к столу и, потягивая свое, «репное», болтал:

— Да, так вот, дьяконица! Разнесчастная женщина. Что ни любовник, то и вор. А без любовника — не может, такое у нее нетерпение в жилах...

— Нет, вот я видел одну на ярмарке,— вспоминал Артамонов.

— Конечно! — спешил подтвердить Серафим. — Там отборные товары со всей земли. Я знаю!

Серафим всех и все знал; занятно рассказывал о семейных делах служащих и рабочих, о всех говорил одинаково ласково и о дочери своей, как о чужой ему:

— Остепенилась, шельма. Живет со слесарем Седовым и ведь хорошо живет, гляди-ко! Да, всякая тварь свою ямку находит.

Хорошо было у Серафима в его чистой комнатке, полной смолистого запаха стружек, в теплом полумраке, которому не мешал скромный свет жестяной лампы на стене.

Выпив, Артамонов жаловался на людей, а плотник утешал его:

— Это — ничего, это хорошо! Побежали люди, вот в чем суть! Лежал-лежал человек, думал-думал, да встал и — пошел! И пускай идет! Ты — не скучай, ты человеку верь. Себе-то веришь?

Петр Артамонов молчал, соображая: верит он себе или нет? А бойкий голосок Серафима, позванивая словами, утешительно пел:

— Ты не гляди, кто каков, плох, хорош, это непрочно стоит, вчера было хорошо, а сегодня — плохо. Я, Петр Ильич, все видел, и плохое, и хорошее, ох, много я видел! Бывало — вижу: вот оно, хорошее! А его и нет. Я — вот он я, а его нету, его, как пыль ветром, снесло. А я —вот! Так ведь я — что? Муха между людей , меня и не видно. А — ты...

Серафим, многозначительно подняв палец, умолкал.

Слушать его речи Артамонову было дважды приятно; они действительно утешали, забавляя, но в то

же время Артамонову было ясно, что старичишка играет, врет, говорит не по совести, а по ремеслу утешителя людей. Понимая игру Серафима, он думал:

«Шельмец старик, ловок! Вот, Никита эдак-то не умеет».

И вспоминал разных утешителей, которых видел в жизни: бесстыдных женщин ярмарки, клоунов цирка и акробатов, фокусников, укротителей диких зверей, певцов, музыкантов и черного Степу, «друга человеческого». В брате Алексее тоже есть что-то общее с этими людями. А в Тихоне Вялове — нет. И в Пауле Менотти тоже нет.

Пьянея, он говорил Серафиму:

— Врешь, старый чорт!

Плотник, хлопая ладонями по своим острым коленям, говорил очень серьезно:

— Не-ет! Ты сообрази: как мне врать, ежели я правды не знаю? Я ж тебе из души говорю: правды не знаю я, стало быть — как же я совру?

— Тогда — молчи!

— Али я немой? — ласково спрашивал Серафим, и розовое личико его освещалось улыбкой. — Я — старичок, — говорил он, — я мое малое время и без правды доживу. Это молодым надо о правде стараться, для того им и очки полагаются. Мирон Лексеич в очках гуляет, ну, он насквозь видит, что к чему, кого — куда.

Артамонову старшему было приятно знать, что плотник не любит Мирона, и он хохотал, когда Серафим, позванивая на струнах гусель, задорно пел:

Ходит дятел по заводу,
Смотрит в светлые очки,
Дескать, я тут — самый умный,
Остальные — дурачки!

— Верно! — одобрял Артамонов.

А плотник пьяненький, притопывая аккуратной ножкой, снова пел:

То не ястреб, то не сыч
Щиплет птичек гоже,
Это — Алексей Ильич,
Угодничек божий!

Артамонову старшему и это нравилось; тогда Серафим бесстыдно пел о Якове:

Яша Машу обнимает,
Ничего не понимает...

Так они забавлялись иногда до рассвета, потом в дверь стучал Тихон Вялов, будил хозяина, если он уже уснул, и равнодушно говорил:

— Домой пора, сейчас гудок будет; рабочие увидят вас, — нехорошо!

Артамонов кричал:

— Что — нехорошо? Я — хозяин!

Но подчинялся дворнику, шел, тяжело покачиваясь, ложился спать, иногда спал до вечера, а ночью снова сидел у Серафима.

Веселый плотник умер за работой; делал гроб утонувшему сыну одноглазого фельдшера Морозова и вдруг свалился мертвым. Артамонов пожелал проводить старика в могилу, пошел в церковь, очень тесно набитую рабочими, послушал, как строго служит рыжий поп Александр, заменивший тихого Глеба, который вдруг почему-то расстригся и ушел неизвестно куда. В церкви красиво пел хор, созданный учителем фабричной школы Грековым, человеком похожим на кота, и было много молодежи.

«Воскресенье», — объяснил себе Артамонов обилие народа.

Небольшой, легкий гроб несли тоже молодые ткачи; более солидные рабочие держались в стороне; за гробом шагала нахмурясь, но без слез, Зинаида в непристойно пестрой кофте, рядом с нею широкоплечий, чисто одетый слесарь Седов, в стороне тяжело мял песок Тихон Вялов. Ярко сияло солнце, мощно и согласно пели певчие, и был заметен в этих похоронах странный недостаток печали.

— Хорошо хоронят, — сказал Артамонов, отирая пот с лица; Тихон остановился, глядя под ноги себе, подумал, потом сказал:

— Приятен был; игровой, как эта...

Он повертел рукою в воздухе.

— Ее старик по улице носил, а девчонка пела... Утешал.

Взглянув на хозяина с непочтительной, возмутившей Артамонова строгостью, он добавил:

— С толку он сбивал людей: никого не обижает, а живет — неправедно.

— Праведно, праведно! — передразнил его хозяин. — Ты к этим мыслям на цепь посажен. Гляди — сбесишься, как Тулун...

И, круто отвернувшись от дворника, Артамонов пошел домой.

Было еще рано, около полудня, но уже очень жарко; песок дороги и синь воздуха становилась все горячее. К вечеру солнце напарило горы белых облаков, они медленно поплыли над краем земли к востоку, сгущая духоту. Артамонов погулял в саду, вышел за ворота. Тихон мазал дегтем петли ворот; заржавев во время весенних дождей, они скверно визжали.

— Что ж ты сегодня, в праздник, мажешь? — лениво спросил Артамонов, присев на лавку, — Тихон косо взглянул на него белками глаз и сказал вполголоса:

— Серафим был вредный.

— Чем это?

В ответ Артамонову черными тараканами поползли странные слова:

— Памятлив был, помнил много. Все помнил, что видел. А — что видеть можно? Зло, канитель, суету. Вот он и рассказывал всем про это. От него большая смута пошла. Я — вижу.

Тыкая помазком в пятки петель, он продолжал все более ворчливо:

— Вышибить надо память из людей. От нее зло растет. Надо так: одни пожили — померли, и все зло ихнее, вся глупость с ними издохла. Родились другие; злого ничего не помнят, а добро помнят. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу. А — где покой? В беспамятстве покой-то...

Никогда еще Тихон не говорил сразу так много и раздражающе. Глупые, как всегда, слова его в тот час почему-то были особенно враждебны Артамонову; разглядывая клочковатую бороду дворника, его жид-

кие, расплывшиеся зрачки, измятый морщинами каменный лоб, Артамонов удивлялся все растущему уродству этого человека. Морщины были неестественно глубоки, точно складки на голенище сапога, скуластое лицо, оголенное старостью, приняло серый цвет пемзы, нос — ноздреватый, как губка.

«Одряхлел, — думал Артамонов, и это было приятно ему. — Заговариваться стал. Не работник, надо рассчитать. Дам награду».

Держа в одной руке квач, а в другой ведерко дегтя, Тихон подвинулся к нему и, указывая квачом на темнокрасное, цвета сырого мяса здание фабрики, ворчал:

— Ты послушал бы, что они там говорят, Седов-щеголь, кривой Морозов, брат его Захарка, Зинаидка тоже, — они прямо говорят: которое дело чужими руками строится — это вредное дело, его надо изничтожить.

— Будто — твои мысли, — насмешливо сказал хозяин.

— Мои? — Тихон отрицательно мотнул головой. — Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет, никакого зла. А они говорят: все — от нас пошло, мы — хозяева! Ты гляди, Петр Ильич, это верно: все от них! Они тебя впрягли в дело, ты вывез воз на ровную дорогу, а теперь...

Артамонов солидно крякнул, встал, сунул руки в карманы и решительно, хотя несколько путаясь в словах, заговорил, глядя через голову Тихона, в облака:

— Вот что: я, конечно, понимаю, ты всю жизнь со мной прожил, это — так! Ну, однако, ты стар, тебе уж трудно...

— А Серафим поддакивал в этом, — сказал Тихон, видимо, не слушая хозяина.

— Подожди! Тебе пора на отдых...

— Всем — пора. А как же?

— Постой... Характер у тебя — тяжелый...

Тихон Вялов не удивился, услыхав о расчете, он спокойно пробормотал:

— Ну, что ж...

— Я тебя, конечно, награжу, — обещал Артамонов, несколько смущенный его спокойствием. Тихон промолчал, смазывая дегтем свои пыльные сапоги; тогда Артамонов сказал со всей твердостью:

— Значит — прощай!

— Ладно,— ответил дворник.

Артамонов пошел за реку, надеясь, что там прохладнее; там, под сосною, где он поссорился с Ильей, Серафим построил ему из белых сучьев березы нечто вроде трона. Оттуда хорошо было видно всю фабрику, дом, двор, поселок, церковь, кладбище. Льдисто сверкали большие окна фабричной больницы, школы; маленькие люди челноками сновали по земле, ткали бесконечную ткань дела, люди еще меньше бегали по песку фабричного поселка. Около церковной ограды, среди серых стволов ольхи, паслось игрушечное стадо коз; их развел одноглазый фельдшер Морозов, внук древнего ткача Бориса,— фабричные бабы много покупали козьего молока для детей. А за больницей, на лысом квадрате земли, обнесенном решеткой, паслись мелкие люди в желтых халатах и белых колпаках, похожие на сумасшедших. Вокруг фабрики развелось много птиц: воробьев, ворон, галок, трещали сороки, торопливо перелетая с места на место, блестя атласом белых боков; сизые голуби ходили по земле, особенно много было птиц около трактира на берегу Ватаракши, где останавливались мужики, привозя лен.

Но с некоторого времени все это большое хозяйство уже не возбуждало ни удовольствия, ни гордости Артамонова, оно являлось для него источником разнообразных обид. Обидно было видеть, как брат, племянник и разные люди, окружающие их, кричат, размахивают руками, точно цыгане на базаре, спорят, не замечая его, человека старшего в деле. Даже говоря о фабрике, они забывали о нем, а когда он им напоминал о себе, люди эти слушали его молча, как будто соглашались с ним, но делали все по-своему и в крупном, и в мелком. Это началось давно, еще с той поры, как они, против его желания, построили на фабрике электрическую станцию; Артамонов старший быстро убедился, что это и выгоднее и безопас-

ней, но все-таки не мог забыть обиду. Мелких обид было много, и они все увеличивались в числе, становились острее.

Особенно дерзко и противно вел себя племянник; он кончил учиться, одевался в какие-то нерусские, кожаные курточки, весь, от золотых очков до желтых ботинок, блестел, щурился, морщился и говорил:

— Это, дядя, старо. Не то время, дядя.

Казалось, он боится времени, как слуга — строгого хозяина. Но только этого он и боялся, во всем же остальном — невыносимо дерзок. Однажды он даже сказал:

— Поймите, дядя, с такими людьми, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить.

Это настолько крепко ударило Артамонова, что он даже не спросил: почему? Оскорбленный, ушел и несколько недель не ходил к брату, не разговаривал с Мироном, встречая его на фабрике.

Мирон собирался жениться на дочери Веры Поповой, такой же высокой и стройной, как ее поседевшая, замороженная мать. Как все, эта девица тоже неприятно усмехалась. Она дергала шеей, присматривалась ко всему упорным взглядом больших, бесстыдно открытых глаз, должно быть, ни во что не верующих, и, напевая сквозь зубы, жужжа, как муха, с утра до вечера портила полотно, размазывая на нем пестрые картинки. Ее соломенная шляпа, привязанная лентой за шею, всегда болталась на спине, волосы у нее были тоже соломенного цвета; одевалась неаккуратно, ноги были видны из-под юбки, почти до колен.

Противен был бездельник Горицветов; он мелькал, как стриж, неожиданно являлся, исчезал, снова являлся и, наскакивая на всех злой, маленькой собачкой, кричал свое:

— Вы хотите превратить богато одухотворенную Россию в бездушную Америку, вы строите мышеловку для людей...

В этих криках Артамонов слышал иногда что-то верное, но чаще — нечто общее с глупостью Тихона Вялова, хотя он не знал людей, более различных, чем этот обожженный, судорожный прыгун и тяжелый,

ко всему равнодушный Тихон. Горицветов подбегал к Елизавете Поповой и кричал на нее:

— Почему вы молчите, вы, человек духа?

Она улыбалась; лицо у нее было надменно и неподвижно, улыбались только ее серые, осенние глаза. Артамонов старший слышал какие-то неслыханные, непонятные слова.

— Агония романтизма, — говорил Мирон, тщательно протирая куском замши стекла очков.

Алексей летал где-то в Москве; Яков толстел, держался солидно в стороне, он говорил мало, но, должно быть, хорошо: его слова одинаково раздражали и Мирона, и Горицветова. Яков отпустил окладистую татарскую бородку, и вместе с рыжеватой бородою у Якова все заметнее насмешливость; приятно было слышать, когда сын лениво говорил бойким людям:

— Сядете вы в лужу по дороге в господа! Жили бы проще.

Старшему Артамонову и — он видел—Якову было очень смешно, когда Елизавета Попова вдруг уехала в Москву и там обвенчалась с Горицветовым. Мирон обозлился и не мог скрыть этого; покручивая острую, не купеческую бородку, вытягивая из нее нить сухих слов, он говорил явно фальшиво:

— Такие люди, как Степан Горицветов, — люди вымирающего племени. Нигде в мире нет людей настолько бесполезных, как он и подобные ему.

Яков сказал, подзадоривая:

— Однакож один эдакий ловко стащил из-под твоего носа кусок, облюбованный тобою!

Приподняв плечи, Мирон ответил:

— Я — не романтик.

— Чего? Кто это? — спросил Артамонов старший, и Мирон отчеканил, точно судья, читающий приговор свой:

— Никто не понимает, что такое романтик, вам этого тоже не понять, дядя. Это — нечто для красоты, как парик на лысую голову, или — для осторожности, как фальшивая борода жулику.

«Ага, прищемил нос», — подумал Артамонов старший с удовольствием.

Эти маленькие удовольствия несколько примиряли его со множеством обид, которые он испытывал со стороны бойких людей, все более крепко забиравших дело в свои цепкие руки, отодвигая его в сторону, в одиночество. Но и в одиночестве он нашел, надумал нечто горестно приятное, одиночество знакомило его с новым, хотя уже смутно знакомым, — с Петром Артамоновым иного рисунка, иного характера.

Это — хороший человек, и он жестоко обижен; жизнь обращалась с ним несправедливо, как мачеха с пасынком. Он начал жизнь покорным, бессловесным слугою своего отца, который не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену и взвалил на плечи его большое, тяжелое дело. Да, жена любила его, и первый год жизни с нею был не плох, но теперь он знал, что даже распутная шпульница Зинаида умеет любить забавнее, жарче. И уж лучше не вспоминать о ловких, бешеных женщинах ярмарки. Жена всю жизнь боялась, сначала — Алексея, керосиновых ламп, потом электрических; когда они вспыхивали. Наталья отскакивала и крестилась. Она сконфузила его на ярмарке, в магазине граммофонов.

— Ой, не надо, не покупай! — просила она. — Может, в этой штуке проклятый кричит, душа его спрятана!

Теперь она боялась Мирона, доктора Яковлева, дочери своей Татьяны и, дико растолстев, целые дни ела. Из-за нее едва не удавился брат. Дети не уважали ее. Когда она уговаривала Якова жениться, сын советовал ей насмешливо:

— Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь.

Она отвечала покорно и неуверенно:

— Да я как будто уж не хочу.

И снова ела.

Отец сказал Якову:

— Ты что насмехаешься над матерью? Жениться тебе — пора!

— Не время связывать себя семьей, — деловито ответил Яков.

— Да что вы все боитесь времени? — рассердился отец; сын, не ответив, пожал плечами.

Он тоже говорил:

— Вы, папаша, не понимаете.

Он говорил это мягко, но все-таки ведь не может быть, чтобы отец понимал меньше сына. Люди живут не завтрашним днем, а вчерашним, все люди так живут.

Старший сын, любимый, пропал, исчез. Из любви к нему пришлось сделать такое, о чем не хочется вспоминать.

Старшая дочь Елена, широколицая, широкобедрая баба, избалованная богатством и пьяницей мужем, была совершенно чужим человеком; она изредка приезжала навестить родителей, пышно одетая, со множеством колец на пальцах. Позванивая золотыми цепочками, брелоками, глядя сытыми глазами в золотой лорнет, она говорила усталым голосом:

— Как у вас пахнет нехорошо; дом весь протух; сгнил; вы бы новый построили. И кто же теперь живет рядом с фабрикой!

Артамонов случайно слышал, как она говорила матери:

— А папаша все такой же? Как, должно быть, скучно с ним! Мой — пьяница, шалун, а — веселый.

У нее была какая-то особенно раздражавшая страсть к чистоте: садясь на стул, она обмахивала его платочком, от нее так крепко пахло духами, что хотелось чихать; ее бесцеремонная, обидная брезгливость ко всему в доме вызывала у Артамонова желание возместить дочери за все, чем она раздражала его; он при ней ходил по дому и даже по двору в одном нижнем белье, в неподпоясанном халате, в галошах на босую ногу, а за обедом громко чавкал и рыгал, как башкир. Дочь возмущалась:

— Что это, папаша?

Именно этого возмущения он и добивался.

— Извините, барыня! — говорил он. — Я ведь мужик.

И рыгал, чавкал еще более свирепо.

Дочь бывала за границей и вечерами лениво, жирненьким голоском рассказывала матери чепуху: в каком-то городе бабы моют наружные стены домов

щетками с мылом, в другом городе зиму и лето такой туман, что целый день горят фонари, а все-таки ничего не видно; в Париже все торгуют готовым платьем и есть башня настолько высокая, что с нее видно города, которые за морем.

С младшей сестрою Елена спорила и даже ругалась. Татьяна росла худенькой, темнокожей и обозленной тем, что она неприглядна. В ней было что-то, напоминавшее дьячка; должно быть, ее коротенькая коса, плоская грудь и синеватый нос. Она жила у сестры, не могла почему-то кончить гимназию, боялась мышей и, соглашаясь с Мироном, что власть царя надо ограничить, недавно начала курить папиросы. Приезжая летом на фабрику, кричала на мать, как на прислугу, с отцом говорила сквозь зубы, целые дни читала книги, вечером уходила в город, к дяде, оттуда ее приводил золотозубый доктор Яковлев. По ночам не спала от девичьей тоски и била туфлей комаров на стенах, как будто стреляя из пистолета.

Все вокруг становилось чуждо, крикливо, вызывающе глупо, все — от дерзких речей Мирона до бессмысленных песенок кочегара Васьки, хромого мужика с вывихнутым бедром и растрепанной, на помело похожей, головою; по праздникам Васька, ухаживая за кухаркой, торчал под окном кухни и, подыгрывая на гармонике, закрыв глаза, орал:

Стала ты теперь несчастна-я,
Моя привычка!
Хочу видеть ежечасно
Твое, морда, личико!

И давно уже Ольга ничего не рассказывала про Илью, а новый Петр Артамонов, обиженный человек, все чаще вспоминал о старшем сыне. Наверное Илья уже получил достойное возмездие за строптивость, об этом говорило изменившееся отношение к нему в доме Алексея. Как-то вечером, придя к брату и раздеваясь в передней, Артамонов старший слышал, что Мирон, возвратившийся из Москвы, говорит:

— Илья — один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади.

«Врешь», — подумал Артамонов, находя что-то утешительное во враждебном отзыве племянника.

Алексей спросил:

— Он — одной партии с Горицветовым?

— Он — вреднее, — ответил Мирон.

Входя в комнату, Артамонов старший мысленно пригрозил им:

«Погодите, воротится он — покажет вам кое-что...»

Мирон тотчас начал рассказывать о Москве, сердито жаловаться на бестолковость правительства; приехала Наталья с сыном — Мирон заговорил о необходимости строить бумажную фабрику, он давно уже надоедал этим.

— У нас, дядя, деньги зря лежат, — сказал он. Наталья, покраснев так, что у нее даже уши вспухли, крикливо возразила:

— Где это они лежат, у кого лежат?

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где все знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. Эта внезапная, телесная скука являлась откуда-то извне, туманом; затыкая уши, ослепляя глаза, она вызывала ощущение усталости и пугала мыслями о болезни, о смерти.

— Надоели вы мне, — сказал он. — Когда я отдохну от вас?

Яков проворчал:

— Довольно возни с тем, что есть...

А Наталья кричала:

— И так развели рабочих до того, что выйти некуда! Пьянство, матерщина...

Артамонов подошел к окну, — в саду стоял Тихон Вялов и, задрав голову, указывал пальцем на яблоню какой-то девчонке.

«Ишь ты, Адам», — подумал Петр Артамонов, стряхнув скуку; такие отдаленные думы часто, мышами пробегали мимо него, он всегда рад был их внезапности, он даже любил их за то, что они не тревожили, мелькнет, исчезнет и — только.

Вот тоже Тихон; жестоко обиделся Петр Артамонов, увидав, что брат взял дворника к себе после

того, как Тихон пропадал где-то больше года и вдруг снова явился, притащив неприятную весть: брат Никита скрылся из монастыря неизвестно куда. Петр был уверен, что старик знает, где Никита, и не говорит об этом лишь потому, что любит делать неприятное. Из-за этого человека Артамонов старший крепко поссорился с братом, хотя Алексей и убедительно защищал себя:

— Подумай: человек всю жизнь работал на нас, а мы его выкинули, — ну, хорошо это?

Петр знал, что это нехорошо, но еще хуже для него было присутствие Тихона в доме. Жена тоже, кажется, первый раз за всю жизнь встала на сторону Алексея; с необычной для нее твердостью она говорила:

— Нехорошо, Петр Ильич, хоть бей меня, а — нехорошо!

Они и Ольга уговорили и успокоили его. Но обиженный человек торжествовал:

«Что? Твоя воля — никому не закон... Видишь?»

Обиженный человек становился все виднее, ощутимее Артамонову старшему. Осторожно внося на холм, под сосну, свое отяжелевшее тело, Петр садился в кресло и, думая об этом человеке, искренно жалел его. Было и сладостно и горько выдумывать несчастного, непонятого, никем не ценимого, но хорошего человека; выдумывался он так же легко, так же из ничего, как в жаркие дни над болотами, в синей пустоте, возникал белый дым облаков.

Глядя на фабрику и на все рожденное ею, человек этот внушал:

«Можно бы жить иначе, без этих затей».

Фабрикант Артамонов возражал ему:

«Тихоновы мысли».

«Поп Глеб то же говорил, и Горицветов, и еще многие. Да, мухами в паутине бьются люди».

«Дешево — не проживешь», — нехотя возражал фабрикант.

Иногда этот немой спор двух людей в одном разгорался особенно жарко, и обиженный человек, становясь беспощадным, почти кричал:

«Помнишь, ты, пьяный, на ярмарке, каялся людям, что принес в жертву сына, как Авраам Исаака, а мальчишку Никонова вместо барана подсунули тебе, помнишь? Верно это, верно! И за это, за правду, ты меня бутылкой ударил. Эх, задавил ты меня, погубил! И меня ты в жертву принес. А — кому жертва, кому? Рогатому богу, о котором Никита говорил? Ему? Эх, ты...»

В минуты столь жестоких споров фабрикант Артамонов старший крепко закрывал глаза, чтобы удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились, он стирал их со щек и бороды ладонями, потом досуха тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие, багровые руки свои. И пил мадеру большими глотками, прямо из горлышка бутылки.

Но, несмотря на эти горестные слезы, выжимаемые им, обиженный человек был приятен и необходим Артамонову старшему, как банщик, когда тот мягкой и в меру горячей, душисто намыленной мочалкой трет кожу спины в том месте, где самому человеку нельзя почесать, — не достает рука.

...И вдруг где-то далеко, за Сибирью, поднялся крепкий кулак и стал бить Россию.

Алексей подпрыгивал, размахивая газетой, кричал:

— Разбой! Грабеж! — и, поднимая птичью лапу к потолку, свирепо шевелил пальцами, шипел:

— Мы их... мы им...

Златозубый доктор, сунув руки в карманы, стоял, прислонясь к теплым изразцам печи, и бормотал:

— Возможно, что и они нас.

Этот большой, медно-рыжий человек, конечно, усмехался, он усмехался всегда, о чем бы ни говорилось; он даже о болезнях и смертях рассказывал с той же усмешечкой, с которой говорил о неудачной игре в преферанс; Артамонов старший смотрел на него, как на иноземца, который улыбается от конфуза оттого, что не способен понять чужих ему людей; Артамонов не любил его, не верил ему и лечился у городского врача, молчаливого немца Крона.

Озабоченно покручивая бородку, морщась, точно у него болел висок, Мирон журавлем шагал из угла в угол и поучал всех:

— Дело надо было начинать в союзе с англичанами...

— Да — какое дело-то? — допытывался Артамонов старший, но ни бойкий брат, ни умный племянник не могли толково рассказать ему, из-за чего внезапно вспыхнула эта война. Ему было приятно наблюдать смятение всезнающих, самоуверенных людей, особенно смешным казался брат, он вел себя так непонятно, что можно было думать: эта нежданная война задевала, прежде всех, именно его, Алексея Артамонова, мешая ему делать что-то очень важное.

По городу пошел крестный ход. Бородатое купечество, важно и благочестиво утаптывая тяжелыми ногами обильно выпавший снег, тесным стадом быков шагало за кряжистым, золотым духовенством; несло иконы, хоругви; соединенный хор всех церквей города громогласно внушительно пел:

— «Спаси, го-осподи, люди твоя-а...»

Слова молитвы, похожей на требование, вылетали из круглых ртов белым паром, замерзая инеем на бровях и усах басов, оседая в бородах нестройно подпевавшего купечества. Особенно пронзительно, настойчиво и особенно не в лад хору пел городской голова Воропонов, сын тележника; толстый, краснощекий, с глазами цвета перламутровых пуговиц, он получил в наследство от своего отца вместе с имуществом и неукротимую вражду ко всем Артамоновым.

Они, семеро, шли все вместе; впереди прихрамывал Алексей, ведя жену под руку, за ним Яков с матерью и сестрой Татьяной, потом шел Мирон с доктором; сзади всех шагал в мягких сапогах Артамонов старший.

— Нация,— негромко говорил Мирон.

— Парад сил,— ответил доктор.

Мирон снял очки, стал протирать их платком, а доктор добавил:

— Увидите — вздуют!

— Н-ну, это сырье не скоро загорится...

— Перестань,— сказал Артамонов старший племяннику, тот искоса взглянул на него и повесил очки на свой длинный нос, предварительно пощупав его пальцами.

— Спас-си, господи, люди твоя! — требовал Воропонов подчеркнуто громко, с присвистом вывизгивая слово «люди», волком оборачивался назад, оглядывая горожан, и зачем-то махал на них бобровой шапкой.

Хорошо, густо пела сорокалетняя, но свежая, круглая, грудастая дочь Помялова, третий раз вдова и первая в городе по скандальной, бесстыдной жизни. Петр Артамонов слышал, как она вполголоса советовала Наталье:

— Ты бы, кума, отправила мужа-то на войну, он у тебя страховидный, от него враги побегут.

И спрашивала Якова:

— Ты что, крестник, не женишься, петух?

Артамонов старший тряхнул головою, слова, как мухи, мешали ему думать о чем-то важном; он отошел в сторону, стал шагать по тротуару медленнее, пропуская мимо себя поток людей, необыкновенно черный в этот день, на пышном, чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром, точно кипящие самовары.

Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом; снежинки искрятся на ее седых волосах; белые, в инее, ресницы ее дрогнули, когда она кивнула пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел ее:

«Глупая. Впряглась уток пасти».

Прокатилась длинная волна стриженых голов: это ученики двух городских училищ; тяжелой, серой машиной продвинулась полурота солдат, ее вел знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин: он ежедневно купался в Оке, начиная с половодья и кончая заморозками, и, как было известно, жил на деньги Помяловой, находясь с нею в незаконной связи.

Важно, сытым гусем, шел жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, а его больная жена шла под руку с братом своим, Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода; про Житейкина говорили, что хотя он

распутничает с монахинями, но прочитал семьсот книг и замечательно умел барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству.

Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей зятем своим и косоглазой дочерью; темной кучей долго двигался мелкий народ: мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнаженные головы, издали доносился неумолимо требующий крик Воропонова:

— Спаси, господи, люди твоя...

«А на что богу эти люди? Понять — нельзя»,— подумал Артамонов. Он не любил горожан и почти не имел в городе связей, кроме деловых знакомств; он знал, что и город не любит его, считая гордым, злым, но очень уважает Алексея за его пристрастие украшать город, за то, что он вымостил главную улицу, украсил площадь посадкой лип, устроил на берегу Оки сад, бульвар. Мирона и даже Якова боятся, считают их свыше меры жадными, находят, что они всё кругом забирают в свои руки.

Осматривая медленный ход задумавшихся людей, Артамонов хмурился,— много незнакомых лиц и слишком много разноцветных глаз смотрят на него с одинаковой неприязнью.

У ворот дома Алексея ему поклонился Тихон. Артамонов спросил:

— Воюем, старик?

Молча, знакомым движением тяжелой руки, Тихон погладил скулу. Первый раз за всю жизнь с ним Артамонов спросил этого человека с доверием к нему:

— Ты что думаешь?

— Пустяковина,— тотчас ответил Вялов, как будто он ждал вопроса.

— У тебя — все пустяки,— неопределенно сказал Артамонов.

— А — как же? Собаки, что ли? Не звери мы.

Артамонов пошел дальше сквозь мелкий, пыльный снег. Снег падал все гуще и уже почти совсем скрыл толпу людей вдали, в белых холмах деревьев и крыш.

Теперь, после смерти Серафима Утешителя, Артамонов старший ходил развлекаться к вдовой дьяконице Таисье Параклитовой, женщине неопределенных лет, худенькой, похожей на подростка и на черную козу. Она была тихая и всегда, во всем соглашалась с ним:

— Так, милый! — говорила она.— Да, да, милый, да!

Пил Артамонов много, но хмелел медленно, и его раздражало, что навязчивые, унылые думы так долго не тают, не тонут в крепких, вкусных водках Таисьи. Первые минуты опьянения были неприятны, хмель делал мысли Петра о себе, о людях еще более едкими, горькими, окрашивал всю жизнь в злые, зеленоболотные краски, придавал им кипучую быстроту; Артамонову казалось, что это кипение вертит, кружит его, а в следующую минуту перебросит через какой-то край. Скрипя зубами, он вслушивался, всматривался в темный бунт внутри себя, потом кричал дьяконице:

— Ну, что молчишь? Говори, что знаешь!

Женщина козой прыгала на колени к нему, она была удивительно легкая и теплая; раскрыв пред собою невидимую книгу, она читала:

— Поручика Маврина Помялова отчислила от себя, он опять проиграл в карты триста двадцать; хочет она векселя подать ко взысканию, у нее векселя на него есть. А жандарм потому жену свою держит здесь, что завел в городе любовницу, а не потому, что жена больная...

— Это все — дрянь,— говорил Артамонов.

— Дрянь, милый, и — какая дрянь!

Ее рассказы о дрянненьких былях города путали думы Артамонова, отводили их в сторону, оправдывали и укрепляли его неприязнь к скучным грешникам — горожанам. На место этих дум вставали и двигались по какому-то кругу картины буйных кутежей на ярмарке; метались неистовые люди, жадно выкатив пьяные, но никогда не сытые глаза, жгли деньги и, ничего не жалея, безумствовали всячески в лютом озлоблении плоти, стремясь к большой, ослепительно белой на черном, бесстыдно обнаженной женщине...

Петр Артамонов молча сосал разноцветные водки, жевал скользкие, кисленькие грибы и чувствовал всем своим пьяным телом, что самое милое, жутко могучее и настоящее скрыто в ярмарочной бесстыднице, которая за деньги показывает себя голой и ради которой именитые люди теряют деньги, стыд, здоровье. А для него от всей жизни осталась вот эта черная коза.

— Раздевайся,— рычал он.— Пляши!

— Как же я без музыки-то? — говорит дьяконица, расстегиваясь.— Носкова бы позвать, охотника, он на гармонии хорошо играет...

В этих забавах время шло незаметно, иногда из потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое: зимою пришли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя.

Тихон Вялов ворчал:

— Еще и церкви рассыплют. А — как же? Народ — не железный.

Летом стали говорить, что по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам,— Тихон сказал:

— А — как же? Навыкли воевать.

По городу снова пошли с иконами, Воропонов в рыжем сюртуке нес портрет царя и требовал:

— Спаси, господи, люди твоя-а-а!

В этот раз он кричал еще громче и даже злее, но все-таки в его — а-а! — призыв на помощь звучал тревожно.

Житейкин, с двухствольным ружьем в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шел во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал:

— Ребята! Не дадим жидам Россию! Чья Россия? Наша!

— Наша,— согласно кричали кожевники, тоже не трезвые, и, встречая ткачей, врагов своих, затевали с ними драки, ударили палкой доктора Яковлева, бросили в Оку старика аптекаря; Житейкин долго гонялся по городу за сыном его, дважды разрядил вслед ему ружье, но — не попал, а только поранил дробью спину портного Брускова.

Фабрика перестала работать, молодежь, засучивая рукава рубах, бросилась в город, несмотря на уговоры Мирона и других разумных людей, несмотря на крики и плач баб.

Фабрика опустела, обездушела и точно сморщилась под ветром, который тоже бунтовал, выл и свистел, брызгая ледяным дождем, лепил на трубу липкий снег; потом сдувал его, смывал.

Сидя у окна, Артамонов старший тупо смотрел, как из города и в город муравьями бегут темненькие фигурки мужчин и женщин; сквозь стекла были слышны крики, и казалось, что людям весело. У ворот визжала гармоника, в толпе рабочих хромой кочегар Васька Кротов пел:

Стало тесно на земле:
Деремся с японами!
Они бьют нас по скуле,
А мы их — иконами!

Ветер приносил из города ворчливый шумок, точно там кипел огромный самовар, наполненный целым озером воды. На двор въехала лошадь Алексея, на козлах экипажа сидел одноглазый фельдшер Морозов; выскочила Ольга, окутанная шалью. Артамонов испугался и, забыв о боли в ногах, вскочил, пошел навстречу ей.

— Что случилось?

Встряхиваясь, точно курица, она сказала:

— Окна побили у нас кожевники...

Артамонов, уступая ей дорогу, усмехнулся, проворчал:

— Ну, вот... Доболтались! Орали на меня, а — вот оно как! Нет, царь...

И вдруг он услыхал гневный, необычный для Ольги, громкий ответ:

— Отстань! Нечестный человек это, твой царь!

— Много ты понимаешь в царях,— смущенно сказал он, дотрагиваясь до своего уха.

Его изумил гнев маленькой старушки в очках, всегда тихой, никого не осуждавшей, в ее словах было что-то поражающе искреннее, хотя и ненужное, жалкое, как мышиный писк против быка, который наступил на

хвост мыши, не видя этого и не желая. Артамонов сел в свое кресло, задумался.

Он давно, несколько недель, не видел Ольгу, избегал встреч с ее сыном, поссорившись с ним. Еще в конце лета, когда Петр Артамонов лежал в постели с отекшими ногами, к нему явился торжественный и потный Воропонов и, шлепая тяжелыми, синими губами, предложил ему подписать телеграмму царю — просьбу о том, чтоб царь никому не уступал своей власти. Артамонова очень удивила дерзкая затея городского головы, но он подписал бумагу, уверенный, что это будет неприятно брату, Мирону, да, наверное, и Воропонов получит хороший выговор из Петербурга: не суйся, дурак толстогубый, не в свое дело, не заносись высоко!

Положив бумагу в карман сюртука, застегнувшись на все пуговицы, Воропонов начал жаловаться на Алексея, Мирона, доктора, на всех людей, которые, подзуживаемые евреями, одни — слепо, другие — своекорыстно, идут против царя; Артамонов старший слушал его жалобы почти с удовольствием, поддакивал, и только когда синие губы Воропонова начали злобно говорить о Вере Поповой, он строго сказал:

— Вера Николаевна тут ни при чем.

— Как это — ни при чем? Нам известно...

— Ничего тебе не известно.

— Доиграетесь до беды,— пригрозил голова и ушел.

А вечером на Артамонова собаками бросились племянник, дочь, бросились и залаяли, не щадя его старость.

— Что вы делаете, папаша? — кричала Татьяна, и на ее некрасивом лице прыгали сумасшедшие глаза. Яков стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Артамонову казалось, что и сын против него, а Мирон едко спрашивал:

— Вы читали, что там написано в этой бумаге?

— Не читал! — сказал Артамонов.— Не читал, а — знаю: написано, чтоб щенкам воли не давать!

Ему было приятно видеть, как сердятся Мирон и Татьяна, но молчание Якова — смущало, он верил деловитости сына, догадывался, что поступил против его

интересов, а вовлечь Якова в этот спор, спросить: как он думает? — не позволяло самолюбие. Он лежал и огрызался, рычал, а Мирон долбил, качая носом:

— Поймите: царь окружен шайкой мошенников, и нужно, чтоб их сменили честные люди...

Артамонов знал, что именно Мирон метит в честные люди и что отец его ездил в Москву хлопотать, чтоб Мирона кто-то там назначил кандидатом в государеву думу. И смешно и опасно представить этого журавля-племянника близко к царю. Вдруг вбежал растрепанный, расстегнутый Алексей и запрыгал, затрещал:

— Что ж ты делаешь, безумный человек?

Он кричал как на служащего.

— К чорту!— взревел Артамонов старший.— Учить меня? Провалитесь все к чорту! Вон!..

Он даже сам был испуган внезапным взрывом своего гнева.

Теперь, сидя в углу, слушая беззлобный рассказ Ольги о бунте в городе, он вспоминал эту ссору и пытался понять: кто же прав, он или эти люди?

Его особенно смутили детские гневные слова Ольги. Вот она уже спокойно, даже умиленно говорит:

— Милые люди ткачи у нас! Как они живо прогнали воропоновских рабочих и кожевников. Остались там, охраняют дом...

А Наталья, очень испуганная, сердито хныкает:

— От вашего дома и пошла смута. Так и надо вам! Всё — от вас.

Явился Мирон и, не здороваясь, расхаживая по комнате пружинной походкой, стал грозить:

— Все эти Воропоновы и Житейкины дорого заплатят за то, что обучают народ бунтовать. Это им даром не пройдет, это отзовется! Вполне достаточно уроков мятежа со стороны друзей Ильи Петровича Артамонова, а если еще и эти начнут...

Артамонов старший промолчал.

После скандала с петицией Воропонова Мирон стал для него окончательно, непримиримо противен, но он видел, что фабрика всецело в руках этого человека, Мирон ведет дело ловко, уверенно, рабочие слушают его или боятся; они ведут себя смирнее городских.

Ветер притих, зарылся в густой снег. Снег падал тяжело и прямо, густыми хлопьями, он занавесил окна белым занавесом, на дворе ничего не видно. Никто не говорил с Артамоновым старшим, и он чувствовал, что все, кроме жены, считают его виновным во всем: в бунтах, в дурной погоде, в том, что царь ведет себя как-то неумело.

— А где же Яша? — тревожно спросила мать.— Яша-то, говорю, где?

Мирон брезгливо сморщил нос и сказал, не глядя на тетку:

— Вероятно, спрятался в городе, в своем курятнике.

— Что? В каком? — пугливо забормотала Наталья.

Артамонов подумал:

«Пожалуй, не знает, дура, что у Якова любовница».

И вдруг сказал твердо:

— Ну, вот что: живите, как хотите! Делайте. Да. Действительно — не понимаю я. Стар. А — тут... Тут чорт играет. Жил — жил — ничего не понимаю...

IV

До двадцати шести лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей, но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную, бесчестную игру. Началось это в апреле, ночью, года три спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ.

Яков лежал на диване и курил, наслаждаясь ощущением насыщенности, исключающей все желания: это ощущение он ценил выше всего в жизни, видя в нем весь ее смысл. Оно являлось одинаково приятным и после вкусного обеда и после обладания женщиной.

Женщина, кругленькая и стройная, стояла среди комнаты у стола, задумчиво глядя на сердитый, лиловый огонь спиртовки под кофейником; ее голые руки и детское лицо, освещенные огнем лампы под красным абажуром, окрашивались в цвет вкусно поджаренной корочки пирога. Растрепанные темные волосы картинно

осыпали шею и плечи. На голом теле Полины — золотисто-желтый бухарский халат, на ногах — зеленые сафьяновые туфли. В ней есть что-то очень легкое, не русское; у нее милая рожица подростка-мальчишки; пухлые губы, задорные глаза, круглые, как вишни; даже в этот час, когда Яков сыт ею, она приятна ему. Она, конечно, несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, и была бы совершенно хороша, если б не ее глупый характер.

— Я не хочу кофею, Апельсинчик,— сказал Яков сквозь густую пелену дыма папиросы; Полина, не взглянув на него, спросила:

— А — я?

— Не знаю, чего ты хочешь,— ответил Яков, устало зевнув.

— Нет, знаешь,— схватив его слова на лету и встряхнув головою, заговорила женщина ломким голосом. Послушав минуту, две ее царапающие, крючковатые слова, Яков сел, бросил папиросу на пол и, надевая ботинки, сказал, вздохнув:

— Не понимаю твоей привычки портить хорошее настроение! Ведь ты знаешь: я не могу жениться, пока отец не помер...

Тут, как всегда, Полина осыпала его обидными словами:

— Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение! Я знаю: ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да! Ты — бесчестный человек...

Яков особенно не любил, когда она именовала его пауком, в ласковые минуты у нее было для него другое забавное имя — Солененький. И ему казалось, что уж сегодня-то она могла бы воздержаться от ссоры: за два часа перед этим он дал ей сто рублей.

— Криком ты ничего не добьешься,— спокойно предупредил он ее, надев шляпу, протягивая руку.— До свиданья!

— Свинья! И опять окурков на пол набросал...

По улице метался сырой ветер, тени облаков ползали по земле, как бы желая вытереть лужи, на минуту выглядывала луна, и вода в лужах, покрытая тон-

ким льдом, блестела медью. В этот год зима упрямо не уступала место весне; еще вчера густо падал снег.

Яков Артамонов шел не торопясь, сунув руки в карманы, держа под мышкой тяжелую палку, и думал о том, как необъяснимо, странно глупы люди. Что нужно милой дурочке Полине? Она живет спокойно, не имея никаких забот, получает не мало подарков, красиво одевается, тратит около ста рублей в месяц, Яков знал, чувствовал, что он ей нравится. Ну, что же еще? Почему она хочет венчаться?

«Глупо, как мышь в банке варенья», — заключил он любимой, им самим придуманной поговоркой. Жизнь казалась ему простой, не требующей от человека ничего, кроме того, чем он уже обладает. В сущности ведь ясно: все люди стремятся к одному и тому же, к полноте покоя; суета дня — это только мало приятное введение к тишине ночи, к тем часам, когда остаешься один на один с женщиной, а потом, приятно утомленный ее ласками, спишь без сновидений. В этом — все действительно значительное и настоящее. Люди — глупы уже потому, что почти все они, скрыто или явно, считают себя умнее его; они выдумывают очень много лишнего; возможно, что они делают это по силе какой-то слепоты, каждый хочет отличиться от всех других, боясь потерять себя в людях, боясь не видеть себя.

Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще тогда, когда он учился в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Много обидного видел от него Яков, а теперь вот, недавно, пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь. Невыносимо, хотя и смешно, глупа мать; еще более невыносимо и тяжко глуп угрюмый отец, старый медведь, не умеющий жить с людями, пьяный и грязный. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей; ему хочется попасть в Государственную думу, ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми в городе и заигрывает с рабочими фабрики, точно старая, распутная баба. Особенно же и как-то подавляюще, страшно глуп этот носатый дятел Мирон; считая себя самым отличным умником в России, он, кажется, видит себя в будущем министром и уже теперь не скрывает, что только ему одному ясно, что на-

до делать, как все люди должны думать. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завел библиотеку, он хочет прикормить волков морковью.

Рабочие ткут великолепное полотно, одеваясь в лохмотья, живя в грязи, пьянствуя; они в массе околдованы тоже какой-то особенной глупостью, дерзко открытой, лишенной даже той простенькой, хозяйственной хитрости, которая есть у каждого мужика. О рабочих Якову Артамонову приходилось думать больше, чем о всем другом, потому что он ежедневно сталкивался с ними и давно, еще в юности, они внушили ему чувство вражды,— он имел тогда немало резких столкновений с молодыми ткачами из-за девиц, и до сего дня некоторые из его соперников, видимо, не забыли старых обид. Когда он был еще безбородым, в него дважды по ночам бросали камнями. Матери тогда не однажды приходилось откупаться деньгами от скандалов и бабьего визга, при этом она смешно уговаривала его:

— Что уж это ты, как петух! Подождал бы, когда женишься, или уж заведи одну и — живи! Пожалуются на тебя отцу, так он тебя, как Илью, прогонит...

За два, три мятежных года Яков не заметил ничего особенно опасного на фабрике, но речи Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой, злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе,— все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, что он уже научился искусно скрывать это чувство под мелкой уступчивостью их требованиям, под улыбками и шуточками. Но в общем все шло не плохо, хотя иногда внезапно охватывало и стесняло какое-то смущение, как будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него, давно живет и надоел им, они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать:

«Что ж ты не уходишь? Пора!»

В часы, когда он испытывал это, у него являлось смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него, лично для него.

Яков был уверен, что человек — прост, что всего милее ему — простота и сам он, человек, никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека, и, заражаясь ими, он становится тревожно непонятным. Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли. Но, будучи враждебен этим мыслям, Яков чувствовал их наличие вне себя и видел, что они, не развязывая тугих узлов всеобщей глупости, только путают все то простое, ясное, чем он любил жить.

Умнее всех людей, которых он знал, ему казался старик Тихон Вялов; наблюдая его спокойное отношение к людям, его милостивую работу, Яков завидовал дворнику. Тихон даже спал умно, прижав ухо к подушке, к земле, как будто подслушивая что-то.

Он спросил старика:

— Ты сны видишь?

— Зачем? Я не баба,— сказал Тихон, и под словами его Яков почувствовал что-то густое, устоявшееся, непоколебимо сильное.

«Бабьи сны», — думал Артамонов младший, слушая споры и речи в доме дяди Алексея, думал и внутренно усмехался.

Вообще же он думал трудно, а задумываясь, двигался тяжело, как бы неся большую тяжесть, и, склонив голову, смотрел под ноги. Так шел он и в ту ночь от Полины; поэтому и не заметил, откуда явилась пред ним приземистая, серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил; выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю.

Лишь после этого Яков почувствовал, что он смертельно испуган, испуган так, что хотел закричать и не мог; руки его дрожали и ноги не послушались, когда он хотел встать с колен. В двух шагах от него возился

на земле, тоже пытаясь встать, этот человек, без шапки, с курчавой головою.

— Застрелю, сволочь,— хрипло сказал Яков, вытягивая руку с револьвером,— человек повернул к нему широкое лицо и пробормотал:

— Застрелили уж...

Тут Яков узнал его, тоже забормотал изумленно:

— Носков? Ах, подлец! Ты?

Страх Якова быстро уступал чувству, близкому радости, это чувство было вызвано не только сознанием, что он счастливо отразил нападение, но и тем, что нападавший оказался не рабочим с фабрики, как думал Яков, а чужим человеком. Это — Носков, охотник и гармонист, игравший на свадьбах, одинокий человек; он жил на квартире у дьяконицы Параклитовой; о нем до этой ночи никто в городе не говорил ничего худого.

— Так вот чем ты занимаешься? — сказал Яков и встал на ноги, оглядываясь; было тихо, только ветер встряхивал сучки деревьев над забором.

— А — чем я занимаюсь? — вдруг громко спросил Носков.— Я пошутить хотел, попугать вас, больше ничего! А вы сразу — бац! За это — не похвалят, глядите! Я сам испугался...

— Ах, вот как? — насмешливо, тоном победителя, сказал Артамонов.— Ну, вставай, идем в полицию.

— Итти я не могу, вы меня изувечили.

Носков поднял шапку и, глядя внутрь ее, прибавил:

— А полиции я не боюсь.

— Ну, там — увидим. Вставай!

— Не боюсь,— повторил Носков.— Чем вы докажете, что я на вас напал, а не вы на меня, с испуга? Это — раз!

— Так. А — два? — спросил Яков, усмехнувшись, но несколько удивляясь спокойствию Носкова.

— Есть и два. Я для вас человек полезный.

— Это — сказка. Это из сказки!

И, направив револьвер в лицо гармониста, Яков с внезапной злостью пригрозил:

— Вот я тебе башку размозжу!

Носков поднял глаза и, снова опустив их в шапку, сказал внушительно:

— Не затевайте скандала. Доказать вы ничего не можете, хотя и богатый. Я говорю: пошутить хотел. Я папашу вашего знаю, много раз на гармонии играл ему.

Он резким жестом взбросил шапку на голову, наклонился и стал приподнимать штанину, мыча сквозь зубы, потом, вынув из кармана платок, начал перевязывать ногу, раненную выше колена. Он все время что-то бормотал невнятно, но Яков не слушал его слов, вновь обескураженный странным поведением неудачного грабителя.

С необыкновенной для него быстротой Яков Артамонов соображал: конечно, надо оставить Носкова тут у забора, итти в город, позвать ночного сторожа, чтоб он караулил раненого, затем итти в полицию, заявить о нападении. Начнется следствие, Носков будет рассказывать о кутежах отца у дьяконицы. Может быть, у него есть друзья, такие же головорезы, они, возможно, попытаются отомстить. Но нельзя же оставить этого человека без возмездия...

Ночь становилась все холодней; рука, державшая револьвер, ныла от холода; до полицейского управления — далеко, там, конечно, все спят. Яков сердито сопел, не зная, как решить, сожалея, что сразу не застрелил этого коренастого парня с такими кривыми ногами, как будто он всю жизнь сидел верхом на бочке. И вдруг он услыхал слова, поразившие его своей неожиданностью:

— Я вам прямо скажу, хотя это — секрет,— говорил Носков, все возясь с ногою своей.— Я тут для вашей пользы живу, для наблюдения за рабочими вашими. Я, может быть, нарочно сказал, что хотел напугать вас, а мне на самом-то деле надо было схватить одного человека, и я опознался...

— Ч-чорт,— сказал Яков.— Как?

— Да, вот так... Вы — не знаете, а у дьяконицы в бане собираются социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают...

— Врешь,— тихо сказал Яков, веря ему.— А — кто? Кто собирается?

— Этого я не могу сказать. Арестуют, узнаете.

Носков, держась за доски забора, встал и попросил:

— Дайте мне палку, без нее я не дойду...

Наклонясь, Яков поднял палку, подал ему и оглянулся, тихо спрашивая:

— Но тогда как же ты, зачем же вы набросились на меня?

— Я — не набрасывался. Я — опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Все это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что...

И, придерживаясь за забор, опираясь на палку, Носков начал медленно переставлять кривые ноги, удаляясь прочь от огородов, в сторону темных домиков окраины, шел и как бы разгонял холодные тени облаков, а отойдя шагов десять, позвал негромко:

— Яков Петрович!

Яков подошел к нему очень быстро, Носков сказал:

— Вы об этом случае — никому, ни словечка! А то... Сами понимаете.

Он взмахнул палкой и пошел дальше, оставив Якова отупевшим. Приходилось думать сразу о многом и нужно было сейчас же решить: так ли он поступил, как следовало? Конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный, даже необходимый человек, а — если он наврал, обманул, чтобы выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Он врет, что опознался и что хотел напугать, врет, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Среди ткачей на фабрике была большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Крикунов, Маслов и другие, сами недавно требовали, чтоб контора рассчитала одного из наиболее неукротимых безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно ли рассказать об этом Мирону?

Яков не мог представить, что будет, если рассказать о Носкове Мирону; но, разумеется, брат начнет подробно допрашивать его, как судья, в чем-то обвинит и, наверное, так или иначе, высмеет. Если Носков шпион — это, вероятно, известно Мирону. И, наконец, все-таки

не совсем ясно — кто ошибся: Носков или он, Яков? Носков сказал:

«Скоро увидите, что я говорю правду».

Он смотрел вслед охотнику до поры, пока тот не исчез в ночных тенях. Как будто все было просто и понятно: Носков напал с явной целью — ограбить, Яков выстрелил в него, а затем начиналось что-то тревожно-запутанное, похожее на дурной сон. Необыкновенно идет Носков вдоль забора, и необыкновенно густыми лохмотьями ползут за ним тени; Яков впервые видел, чтоб тени так тяжко тащились за человеком.

Задерганный думами, устав от них, Артамонов младший решил молчать и ждать. Думы о Носкове не оставляли его, он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться: кто из них социалист? Неужели — кочегар Васька, чумазый, хромой, научившийся у плотника Серафима ловко складывать насмешливые частушки?

Через несколько дней Артамонов младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидал на опушке леса жандарма Нестеренко, в шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем в руке и туго набитым птицей ягдташем на боку. Нестеренко стоял лицом к лесу, спиною к дороге и, наклоня голову, подняв руки к лицу, раскуривал папиросу; его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной. Яков тотчас решил, что нужно делать, подъехал к нему, торопливо поздоровался:

— А я не знал, что вы здесь!

— Третий день; жене моей, батенька, все хуже, да-с!

Это печальное сведение Нестеренко сообщил очень оживленно и тотчас, хлопнув рукою по ягдташу, прибавил:

— А я — вот! Не плохо, а?

— Вы знаете Носкова, охотника? — спросил Яков негромко; рыжеватые брови офицера удивленно всползли кверху, его китайские усы пошевелились, он придержал один ус, сощурился, глядя в небо, все это вызвало у Якова догадку:

«Соврет. Но — как?»

— Носков? Кто это?

— Охотник. Курчавый, кривоногий...

— Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко... А — что?

Теперь офицер смотрел в лицо Якова пристальным, спрашивающим взглядом серых глаз с какой-то светленькой искрой в центре зрачка; Яков быстро рассказал ему о Носкове. Нестеренко выслушал его, глядя в землю, забивая в нее прикладом ружья сосновую шишку, выслушал и спросил, не подняв глаз:

— Почему же вы не заявили полиции? Это — ее дело, батенька, и это ваша обязанность.

— Я же говорю: он будто бы шпионит за рабочими, а это — ваше дело...

— Так,— сказал жандарм, гася папиросу о ствол ружья, и, снова глядя прищуренными глазами прямо в лицо Якова, внушительно начал говорить что-то не совсем понятное; выходило, что Яков поступил незаконно, скрыв от полиции попытку грабежа, но что теперь уж заявлять об этом поздно.

— Если б вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну — дело ясное! Но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Ранен? Ба! В человека можно выстрелить с испуга... случайно, по неосторожности...

Яков чувствовал, что Нестеренко хитрит, путает что-то, даже как бы хочет запугать и отодвинуть его или себя в сторону от этой истории; а когда офицер сказал о возможности выстрела с испуга, подозрение Якова упрочилось:

«Врет».

— Да-с, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает.

И, положив руку на плечо Якова, офицер сказал:

— Вот что: вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это — в ваших интересах, понимаете? Итак: честное слово?

— Конечно. Пожалуйста.

— Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу, — вы действительно не говорили еще им? Ну, вот. Предоставим это дело его внутренней логике. И — никому ни звука! Так? Охотник сам себя ранил, вы тут ни при чем.

Яков улыбался: с ним говорил другой человек, веселый, добродушный.

— До свидания, — говорил он. — Помните: честное слово!

Артамонов младший возвратился домой несколько успокоенный; вечером дядя предложил ему съездить в губернию, он уехал с удовольствием, а через восемь дней, возвратясь домой и сидя за обедом у дяди, с новой тревогой слушал рассказ Мирона:

— Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал, он и в городе поймал троих: учителя Модестова и еще каких-то.

— А у нас? — спросил Яков.

— У нас: Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Хотя арестовывать приезжали жандармы из губернии, но, разумеется, это дело Нестеренко, и, таким образом, жена его хворает с явной пользой для нас. Да, он — не глуп. Боится, чтоб его не кокнули...

— Теперь — перестали убивать, — заметил Алексей.

— Н-ну, — сказал Мирон. — Да! В городе арестован еще этот, охотник...

— Носков? — тихо, испуганно спросил Яков.

— Не знаю. Он жил у дьяконицы, у нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее — и с нею — забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение — дрянненькое...

— Да, уж, — сказал Алексей, мотнув лысой головою. — Что с ним делать?

У Якова потемнело в глазах, и он уже не мог слушать, о чем говорит дядя с братом. Он думал: Носков арестован; ясно, что он тоже социалист, а не грабитель, и что это рабочие приказали ему убить или избить хозяина; рабочие, которых он, Яков, считал наиболее солидными, спокойными! Седов, всегда чисто одетый и уже немолодой; вежливый, веселый сле-

сарь Крикунов; приятный Абрамов, певец и ловкий, на все руки, работник. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги его?

Ему показалось также, что за эти дни в доме дяди стало еще более крикливо и суетно. Золотозубый доктор Яковлев, который никогда ни о ком, ни о чем не говорил хорошо, а на все смотрел издали, чужими глазами, посмеиваясь, стал еще более заметен и как-то угрожающе шелестел газетами.

— Да, — говорил он, сверкая зубами, — шевелимся, просыпаемся! Люди становятся похожи на обленившуюся прислугу, которая, узнав о внезапном, неожиданном ею возвращении хозяина и боясь расчета, торопливо, нахлестанная испугом, метет, чистит, хочет привести в порядок запущенный дом.

— Двусмысленно говорите вы, доктор, — заметил Мирон, поморщившись. — Этот ваш анархизм, скептицизм...

Но доктор говорил все громче, речи его становились длиннее, слова внушали Якову тревогу. Казалось, что и все чего-то боятся, грозят друг другу несчастиями, взаимно раздувают свои страхи, можно было думать даже так, что люди боятся именно того, что они сами же и делают, — своих мыслей и слов. В этом Яков видел нарастание всеобщей глупости, сам же он жил страхом не выдуманным, а вполне реальным, всей кожей чувствуя, что ему на шею накинута петля, невидимая, но все более тугая и влекущая его навстречу большой, неотвратимой беде.

Его страх возрос еще более месяца через два, когда снова в городе явился Носков, а на фабрике — Абрамов, гладко обритый, желтый и худой.

— Возьмете меня, старика? — спросил он, улыбаясь, — Яков не посмел отказать ему.

— Что, трудно в тюрьме? — спросил он. Абрамов ответил все с тою же улыбкой:

— Тесно очень! Если б тиф не помогал начальству,— не знаю, куда бы оно сажало народ!

«Да, — подумал Яков, проводив ткача, — ты улыбаешься, а я знаю, что ты думаешь...»

В тот же вечер Мирон из-за Абрамова устроил ему оскорбительную сцену, почти накричал на него, даже топнул ногою, как на лакея:

— Ты с ума сошел? — кричал он, и нос его покраснел со зла. — Завтра же дай расчет...

А через несколько дней, когда он утром купался в Оке, его застигли поручик Маврин и Нестеренко, они подъехали в лодке, усатой от множества удилищ, хладнокровный поручик поздоровался с Яковом небрежным кивком головы, молча, и тотчас же отъехал на середину реки, а Нестеренко, раздеваясь, тихо сказал:

— Вы напрасно не приняли Абрамова, очень жалею, что не мог предупредить вас.

— Это — Мирон, — пробормотал Артамонов младший, чувствуя, что слова офицера крепко пахнут спиртом.

— Да? — спросил Нестеренко. — Это не от вас зависело?

— Нет.

— Жаль. Парень этот был бы полезен. Приманка. Живец.

И глядя на Якова глазами соучастника, голый, золотистый на солнце, блестя кожей, как сазан чешуей, офицер снова спросил:

— А приятеля вашего — видели? Охотника?

Нестеренко засмеялся тихим смехом самодовольного человека.

— Знаете, что его побудило охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Все — страсти, батенька, страсти руководят людями, да-с! Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло, благодаря его ошибке с вами...

— Какая же ошибка, когда вы говорите...

— Ошибка, сударь мой, ошибка! — настойчиво повторил офицер и, разбрызгивая воду, крестя голую грудь, пошел в реку, шагая, как лошадь.

«Чорт вас всех побери», — уныло подумал Яков.

Вдруг, — точно дверь закрыли в комнату, где был шум, — пришла смерть.

Среди ночи Якова разбудила, всхлипывая, мать:

— Вставай скорее, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался!

Яков вскочил, забормотал:

— Как же это! Он и не хворал ведь...

Пошатываясь, тяжко дыша, в дверь влез отец.

— Тихон, — ворчал он. — Где Тихон, там уж добра не жди! Вот, Яков, а? Вдруг...

Босый, в халате, накинутом на ночное белье, он дергал себя за ухо, оглядывался, точно попал в незнакомое место, и ухал:

— Ух...

— Как же это? — недоумевал Яков.

— Без покаяния,— сказала мать, похожая на огромный мешок муки.

Поехали на бричке; Яков сидел за кучера, глядя, как впереди подпрыгивает на коне Тихон, а сбоку от него по дороге стелется, пляшет тень, точно пытаясь зарыться в землю.

Ольга встретила их на дворе, она ходила от сарая к воротам туда и обратно, в белой юбке, в ночной кофте, при свете луны она казалась синеватой, прозрачной, и было странно видеть, что от ее фигуры на лысый булыжник двора падает густая тень.

— Вот и кончилась моя жизнь, — тихонько сказала она. Черная собака Кучум неотвязно шагала вслед за нею.

На скамье, под окном кухни, сидел согнувшись Мирон; в одной его руке дымилась папироса, другою он раскачивал очки свои, блестели стекла, тонкие золотые ниточки сверкали в воздухе; без очков нос Мирона казался еще больше. Яков молча сел рядом с ним, а отец, стоя посреди двора, смотрел в открытое окно, как нищий, ожидая милостыни. Ольга возвышенным голосом рассказывала Наталье, глядя в небо:

— Не заметила я когда... Вдруг плечико у него стало смертно холодное, ротик открылся. Не успел, родной, сказать мне последнее слово свое. Вчера пожаловался: сердце колет.

Рассказывала Ольга тихо, и от слов ее тоже как будто падали тени.

Мирон, бросив погасшую папиросу, боднул Якова головою в плечо и тихонько провыл:

— Т-ты, не знаешь, какой он хороший...

— Что ж делать? — ответил Яков, не находя иных слов. Надобно было сказать что-нибудь и тетке, а — что скажешь? Он замолчал, глядя в землю, шаркая ногою по ней.

Отец, крякнув, осторожно пошел в дом, за ним на цыпочках пошел и Яков. Дядя лежал накрытый простынею, на голове его торчал рогами узел платка, которым была подвязана челюсть, большие пальцы ног так туго натянули простыню, точно пытались прорвать ее. Луна, обтаявшая с одного бока, светло смотрела в окно, шевелилась кисея занавески; на дворе взвыл Кучум, и, как бы отвечая ему, Артамонов старший сказал ненужно громко, размашисто крестясь:

— Жил легко и помер легко...

Из окна Яков видел, что теперь по двору рядом с теткой ходит Вера Попова, вся в черном, как монахиня, и Ольга снова рассказывает возвышенным голосом:

— Во сне скончался...

— Не дури! — тихо крикнул Вялов; он, вытирая лошадь клочками сена, мотал головою, не давая коню схватить губами его ухо; Артамонов старший тоже взглянул в окно, проворчал:

— Орет, дурак; ничего не понимает...

«Ничего не надо говорить», — подумал Яков, выходя на крыльцо, и стал смотреть, как тени черной и белой женщин стирают пыль с камней; камни становятся все светлее. Мать шепталась с Тихоном, он согласно кивал головою, конь тоже соглашался; в глазу его светилось медное пятно. Вышел из дома отец, мать сказала ему:

— Никите Ильичу депешу бы послать, Тихон знает, где он.

— Тихон знает! — сердито повторил отец. — Пошли, Мирон.

Мирон встал, пошел, задел плечом косяк двери и погладил косяк ладонью.

— Илье тоже пошли,— сказал Артамонов старший

вслед ему: из темной дыры, прорезанной в стене, Мирон ответил:

— Илья не может приехать.

— Ведь я с ним тридцать лет прожила, — рассказывала Ольга и точно сама удивлялась тому, что говорит. — Да еще до венца четыре года дружились. Как же теперь я буду?

Отец подошел к Якову.

— Илья — где?

— Не знаю.

— Врешь?

— Не время теперь говорить об Илье, папаша.

Во двор поспешно вошел доктор Яковлев, спросил:

— В спальне?

«Дурак, — подумал Яков. — Ведь не воскресишь».

Его угнетала невозможность пропустить мимо себя эти часы уныния. Все кругом было тягостно, ненужно: люди, их слова, рыжий конь, лоснившийся в лунном свете, как бронза, и эта черная, молча скорбевшая собака. Ему казалось, что тетка Ольга хвастается тем, как хорошо она жила с мужем; мать, в углу двора, всхлипывала как-то распущенно, фальшиво, у отца остановились глаза, одеревянело лицо, и все было хуже, тягостнее, чем следовало быть.

В день похорон дяди Алексея на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита.

«Вот еще», — подумал Яков, разглядывая угловатую фигуру монаха, прислонившуюся к стволу березы, им же и посаженной.

— Опоздал ты, — сказал ему отец, подходя к брату, вытирая слезы с лица; монах втянул, как черепаха, голову свою в горб. Вид у него был нищий; ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого, жестяного ведра, сапоги стоптаны. Пыльное его лицо опухло, он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бороденка. Яков исподлобья оглянулся, — монаха любопытно щупали десятки глаз, наверное. люди смотрят на уродливого брата и дядю богатых людей и ждут, не случится ли что-ни-

будь скандальное? Яков знал, что город убежден: Артамоновы спрятали горбуна в монастырь для того, чтоб воспользоваться его частью наследства после отца.

Толстый, благодушный священник отец Николай тенористо уговаривал Ольгу:

— Не станем оскорблять стенанием и плачем господа бога нашего, ибо воля его...

А Ольга отвечала возвышенным голосом:

— Да ведь я не плачу, не жалуюсь я!

Руки у нее дрожали, она странно судорожными жестами ошаривала юбку свою, хотела спрятать в карман мокрый от слез комочек платка.

Тихон Вялов умело засыпал могилу, помогая сторожу кладбища; у могилы, остолбенело вытянувшись, стоял Мирон, а горбатый монах тихо, жалобно говорил Наталье:

— Ой, какая ты стала́, — не узнать!

И, ткнув пальцем в передний горб свой, прибавил неуместно, ненужно:

— Меня — нельзя не узнать. Это — твой, Яков? А тот, высокий, Алешин, Мирон? Так, так! Ну, пойдемте, пойдемте...

Яков остался на кладбище. За минуту пред этим он увидал в толпе рабочих Носкова, охотник прошел мимо его рядом с хромым кочегаром Васькой и, проходя, взглянул в лицо Якова нехорошим, спрашивающим взглядом. О чем думает этот человек? Конечно, он не может думать безвредно о человеке, который стрелял в него, мог убить.

Подошел Тихон, стряхивая ладонью песок с поддевки, и сказал:

— Ведь вот уж как старался Алексей Ильич, а все-таки... И Никита Ильич слабенек...

— Тут есть, — вдруг сказал Яков и оборвал слова свои.

— Чего?

— Рабочие жалеют дядю.

— А — как же?

— Тут есть один — Носков, охотник, — снова начал Яков. — Я бы тебе сказал про него...

— Лошадь падет, и ту — жаль, — раздумчиво говорил Тихон. — Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался. Как ушибся обо что. А еще за день до смерти говорил мне...

Яков замолчал, поняв, что его слова не дойдут до Тихона. Он решил сказать Тихону о Носкове потому, что необходимо было сказать кому-либо об этом человеке; мысль о нем угнетала Якова более, чем все происходящее. Вчера в городе к нему откуда-то из-за угла подошел этот кривоногий, с тупым лицом солдата, снял фуражку и, глядя внутрь ее, в подкладку, сказал:

— Имею должок за вами, обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер, так что — как бы на помин души. А у меня случай есть — замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши...

Яков ошеломленно смотрел на него и молчал. Тогда Носков поучительно и настойчиво прибавил:

— И как я служу вашей пользе, против недругов России...

— Сколько? — спросил Яков.

Носков, не сразу, ответил:

— Тридцать пять рублей.

Яков дал ему деньги и быстро пошел прочь, возмущенный, испуганный. «Он меня дураком считает, он думает, что я его боюсь, подлец! Нет, погоди же...»

И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно желающего подвести его, как быка, под топор.

Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно:

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

Степан Барский, когда его мягкое, точно пуховая подушка, тело втискивали в экипаж, громко похвалил:

— Ну, Петр Ильич, воистину — любил ты брата! Такие поминки долго не забыть!

Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо:

— Ты скоро все забудешь, лопнешь скоро.

Житейкина, Барского, Воропонова и еще несколько человек почтенных горожан отец пригласил сам, против желания Мирона, и Мирон был явно возмущен этим; посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушел, шагая, как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тетка Ольга, потом скрылся и монах, которому, видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. А отец вел себя так, как будто хотел обидеть всех людей, и все время, до конца поминок, Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами.

Мать, оскорбленная тем, что за теткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой, а отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Все это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и еще более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел на двор и под окном кухни на скамье увидал рядом с Тихоном черную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским; он держал в руке стакан, а на скамье, рядом с ним, стояла бутылка кваса.

— Это — кто? — тихонько спросил он и тотчас сам ответил: — Это — Яша. Посиди со стариками, Яша!

И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нем. Луна спряталась за колокольней, окутав ее серебряным туманным светом и этим странно выдвинув из теплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пес Кучум; ходил, нюхал землю и вдруг, подняв голову в небо, негромко вопросительно взвизгивал.

— Цыц, Кучум, — вполголоса сказал Тихон.

Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то.

— Чувствует, — заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтоб не думать.

— Понимает, говорю, — настойчиво повторил он, — дворник тихо отозвался:

— А — как же?

— В Суздале монастырская собака воров по запаху узнавала, — вспомнил монах.

— О чем беседуете? — спросил Яков; монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и беззубо заговорил, точно с лестницы идя:

— Тихон вот замечает: опять к мятежу люди склонны. Оно — похоже! Очень задумались все...

— Дела замучили, — вставил Тихон, играя ушами собаки.

— Прогони собаку, — приказал Яков, — блохи от нее.

Дворник снял Кучумовы лапы с колен своих, отодвинул собаку ногой; она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на нее, и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем ее хозяина, зарытого в землю.

— Бунт — будет, — сказал Яков и осторожно посмотрел в темные углы двора. — Помнишь, Тихон, арестовали Седова с товарищами?

— А — как же?

Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку, достал из нее щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику:

— Вот, табачок нюхаю. Глазам помогает это, плохо видеть стали.

Чихнув, он продолжал:

— Арестуют даже и в деревнях...

— Шпионы завелись, — сказал Яков, стараясь говорить просто.

— Подсматривают за всеми.

Тихон проворчал:

— Ежели не подсматривать — ничего не узнаешь.

А Яков, нерешительно ворочая языком, пожимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шопотом:

— И у нас есть. Про Носкова, охотника, нехорошие слухи... Будто он донес на Седова и на всех в городе...

— Ишь ты, дурак, — не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил ее на колено, а Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту, и зачем-то предупредил Тихона:

— Ты однако не говори про Носкова.

— Зачем говорить? Он меня некасаемый. Да и некому говорить, никто никому не верит.

— Да, — сказал монах, — веры мало; я после войны с солдатами ранеными говорил, вижу: и солдат войне не верит! Железо, Яша, железо везде, машина! Машина работает, машина поет, говорит! Железному этому заводу жития и люди другие нужны, — железные. Очень многие понимают это, я таких встречал. «Мы, говорят, вам, мякишам, покажем!» А некоторые другие обижаются. Когда человек командует — к этому привыкли, а когда железный металл — обидно! К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно, — привыкли, а тут вещь — сто пудов, однако как живая.

Тихон крякнул и, незнакомо Якову, неслыханно им — засмеялся, говоря:

— Вперед лошади телега бежит. Эх, черти!

— И многие — обозлились, — продолжал монах очень тихо.— Я три года везде ходил, я видел: ух, как обозлились! А злятся — не туда. Друг против друга злятся; однако все — виноваты, и за ум, и за глупость. Это мне поп Глеб сказал: очень хорошо!

— Поп-то жив? — спросил Тихон.

— Попа — нет, — ответил Никита. — Он расстригся, он теперь по сельским ярмаркам книжками торгует.

— Хороший поп, — сказал Тихон. — Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся попом из бедности своей, а по-настоящему в бога не верил, так думаю.

— Нет, он веровал во Христа. Каждый по-своему верует.

— Оттого и смятение, — твердо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся: — Додумались...

На крыльцо бесшумно вышел Артамонов старший босиком, в ночном белье, посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном:

— Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут...

Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в темную дыру открытого окна, должно быть ожидая, когда хозяин позовет ее.

— А ты, Тихон, все свое долбишь! — заговорил Артамонов. — Вот, Яков, гляди: наткнулся мужик на одну думу — как волк в капкан попал. Вот также и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?

— Слышал.

— Да. Прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал, а — куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как...

— Алексей божий человек также, — тихо напомнил Никита.

Артамонов старший поднял руку к виску, помолчал и пошел в сад, сказав Якову:

— Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может, я там засну.

Грузный, в белом весь, с растрепанными волосами на голове, с темнобурым опухшим лицом, он был почти страшен.

— О машинах ты, Никита, зря говорил,— сказал он, остановясь среди двора. — Что ты понимаешь в машинах? Твое дело — о боге говорить. Машины не мешают...

Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь:

— От машин жить дороже и шуму больше.

Артамонов старший отмахнулся от него и медленно пошел в сад, а Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал:

«Родные: отец, дядя,— а зачем они мне? Они помочь не могут».

Отец не пригласил брата жить к себе, монах поселился в доме тетки Ольги, на чердаке, предупредив ее;

— Я немножко поживу, я уйду скоро...

Жил он почти незаметно и, если его не звали вниз,— в комнаты не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людями тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем, дома молился мало и говорить о боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров.

Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова, и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствованиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал еще более заносчив, сух, распоряжался по фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего.

На расплывшееся, красное лицо Натальи монах смотрел все так же ласково, как на все и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими, да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Ее отупевшие глаза остановились, лишь изредка в их мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироном и любовная радость при виде толстенького, солидного Якова. С Тихоном монах был в чем-то несогласен, они ворчали друг на друга и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых.

В жизнь Якова угловатая, черная фигура дяди внесла еще одну тень, вид монаха вызывал в нем тяжелые предчувствия, его темное, тающее лицо заставляло думать о смерти. Яков Артамонов смотрел на все, что творилось дома, с высоты забот о себе самом, но хотя заботы всё возрастали, однако и дома тоже возникало все больше новых тревог. Чутье мужчины, опытного в делах любви, подсказывало ему, что Полина стала холоднее с ним, а хладнокровный поручик Маврин подтверждал подозрения Якова; встречаясь с ним, поручик теперь только пренебрежительно касался пальцем фуражки и прищуривал глаза, точно разглядывая нечто отдаленное и очень маленькое, тогда как раньше он был любезней, вежливее и в общественном собра-

нин, занимая у Якова деньги на игру в карты или прося его отсрочить уплату долга, не однажды одобрительно говорил:

— У вас, Артамонов, фигура артиллериста.

Или говорил что-нибудь другое, тоже приятное. Якову льстило грубоватое добродушие этого точно из резины отлитого офицера, удивлявшего весь город своим презрением к холоду, ловкостью, силой и несомненно скрытой в нем отчаянной храбростью. Он смотрел в лица людей круглыми, каменными глазами и говорил сиповато, командующим голосом.

— Я мужчина хладнокровный и терпеть не могу преувеличений.

Поссорившись за картами с почтмейстером Дроновым, больным, но ехидного ума старичком, которого все в городе боялись, Маврин сказал ему:

— Преувеличивать не стану, но вы — старый дурак!

Подозревая в нем соперника, Яков Артамонов боялся столкновений с поручиком, но у него не возникало мысли о том, чтобы уступить Маврину Полину, — женщина становилась все приятнее ему. Все-таки он уже не однажды предупреждал ее:

— Смотри, если замечу что-нибудь между тобой и Мавриным,— брошу!

Рядом с этим росла тревога, которую вызывал в нем охотник Носков. Он подстерегал Якова на окраине города, у мостика через Ватаракшу, внезапно вырастал из земли и настойчиво, как должного, просил денег, глядя в свою фуражку.

Было что-то странное, нехорошее в том, что охотник появлялся всегда на одном и том же месте, выходя из крапивы и репейника, из густой заросли сорных трав под двумя кривыми ветлами. Года два тому назад на этом месте стоял дом огородника Панфила; огородника кто-то убил, дом подожгли, ветлы обгорели, глинистая земля, смешанная с углем и золою, была плотно утоптана игроками в городки; среди остатков кирпичного фундамента стояла печь, торчала труба; в ясные ночи над трубою, невысоко в небе, дрожала зеленоватая звезда. Носков не торопясь, шурша

крапивой, выходил из-за трубы, медленно стаскивал с головы своей фуражку и бормотал:

— Я вам заслужу. Тут у вас снова заводится компания...

— Эти компании не мое дело,— сердито говорил Яков и слышал в ответе Носкова явное нахальство:

— Конечно, не вы организуете, но дело-то касается вас.

«Жаль, не пристрелил я его тогда»,— в десятый раз сожалел Яков и, давая деньги шпиону, говорил:

— Ты, смотри, осторожнее!

— Я знаю.

— Меня не впутай.

— Зачем же? Будьте покойны.

«Да, конечно, он считает меня дураком...»

Понимая, что Носков человек полезный, Яков Артамонов был уверен, что кривоногий парень с плоским лицом не может не отомстить ему за выстрел. Он хочет этого. Он запугает или на деньги, которые сам же Яков дает ему, подкупит каких-нибудь рабочих и прикажет им убить. Якову уже казалось, что за последнее время рабочие стали смотреть на него внимательнее и злей.

Мирон все чаще говорил: рабочие бунтуют не ради того, чтоб улучшить свое положение, но потому, что им со стороны внушается нелепейшая, безумнейшая мысль: они должны взять в свою волю банки, фабрики и вообще все хозяйство страны. Говоря об этом, он вытягивался, выпрямлялся, шагал по комнате длинными ногами и вертел шеей, запуская палец за воротник, хотя шея у него была тонкая, а воротник рубашки достаточно широк.

— Это уж даже и не социализм, а чорт знает что! И вот сторонником этой выдумки является твой родной брат. Наше правительство старых ворон...

Яков понимал, что все это говорится Мироном для того, чтоб убедить слушателей и себя в своем праве на место в Государственной думе, а все-таки гневные речи брата оставляли у Якова осадок страха, усиливая сознание его личной беззащитности среди сотен рабочих. Он даже испытал нечто близкое припадку ужаса: как-то утром его разбудил вой и крик на фаб-

ричном дворе, приподняв голову с подушки, он увидал, что по белой, гладкой стене склада мчится буйная толпа теней, они подпрыгивают, размахивая руками, и, казалось, двигают по земле все здание склада. Он, сразу весь вспотев, думал, безмолвно кричал:

«Бунт...»

Этот поток теней, почему-то более страшных, чем люди, быстро исчез, Яков понял, что у ворот фабрики разыгралась обычная в понедельник драка,— после праздников почти всегда дрались, но в памяти его остался этот жуткий бег темных, воющих пятен. Вообще вся жизнь становилась до того тревожной, что неприятно было видеть газету и не хотелось читать ее. Простое, ясное исчезало, отовсюду вторгалось неприятное, появлялись новые люди.

Сестра Татьяна вдруг привезла из Воргорода жениха, сухонького, рыжеватого человечка в фуражке инженера; легкий, быстрый на ногу, очень веселый, он был на два года моложе Татьяны, и, начиная с нее, все в доме сразу стали звать его Митя. Он играл на гитаре, пел песни, одна из них, которую он распевал особенно часто, казалась Якову обидной для сестры и очень возмущала мать:

Жена моя в гробу.
Рабу
Устрой, господь, твою
В раю!

Но сестра не обижалась; ее, как всех, забавлял этот человек, и даже мать нередко умиленно говорила ему:

— Ах ты, чижик! Да ты поешь, паяц!

Есть Митя мог, точно голубь, бесконечно много; Артамонов старший разглядывал его, как сон, удивленными глазами, мигая, и спрашивал:

— При таком характере ты должен пить. Пьешь?

— Могу,— ответил зять и за ужином доказал, что пить он может тоже изрядно. Он везде бывал: на Волге и на Урале, в Крыму и на Кавказе, он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек; казалось, что он прибежал из какой-то веселой, беспечной страны.

— Жизнь — красавица! — говорил он и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела, понравился рабочим, молодежь смеялась, старики ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывал языком улыбки со своих тонких губ. Вот он идет рядом с Мироном по двору фабрики к пятому корпусу, этот корпус еще только вцепился в землю, пятый палец красной кирпичной лапы; он стоит весь опутанный лесами, на полках лесов возятся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Мирона, он вытягивает руку, точно генерал на старинной картинке ценою в пятачок, Митя, кивая головою, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю.

Яков смотрит на них из окна конторы. Зять нравится и ему, с ним весело, забываешь многое, что тяготит; Яков даже завидует характеру этого человека, но чувствует к нему странное недоверие: кажется, что этот человек ненадолго, до завтра, а завтра он объявит себя актером, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нем было еще одно хорошее качество,— он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяной, хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьянина хитрость. Но отец, трезвый, ворчал:

— Вот на какого рыженького работал я...

И Мирон женился.

— Позвольте представить вам жену мою,— сказал он, приехав из Москвы, и поставил пред собою голубоглазую, пухленькую куколку с кудрявой, свернутой набок головкой. Его жена была игрушечно маленьких размеров, но сделана как-то особенно отчетливо, и это придавало ей в глазах Якова вид не настоящей женщины, а сходство с фарфоровой фигуркой, прилепленной к любимым часам дяди Алексея; головка фигурки была отбита и приклеена несколько наискось; часы стояли на подзеркальнике, и статуэтка, отворотясь от людей, смотрела в зеркало. Мирон объявил, что жену его зовут Анна и что ей восемнадцать лет, но умолчал, что в придачу к ней ему дали четверть миллиона и что она единственная дочь фабриканта бумаги.

— Вот как женятся,— ворчал отец, глядя на Якова красными глазами. — А ты путаешься чорт знает с какой. А Илью вымели из обихода, как сор.

Отец ходил с трудом, тяжело раскачивая обмякшее, вялое тело. Якову казалось, что тело это злит отца и он нарочно выставляет напоказ людям угнетающее безобразие старческой наготы: он щеголял в ночном белье, в неподпоясанном халате, в туфлях на босую ногу, с раскрытой, оплывшей грудью, так же, как ходил перед дочерью Еленой, чтобы позлить ее. Иногда он являлся в контору, долго сидел там и, мешая Якову, жаловался, что вот он отдал все свои силы фабрике, детям, всю жизнь прожил запряженный в каменные оглобли дела, в дыму забот, не испытав никаких радостей.

Сын слушал и молчал, видя, что эти жалобы, утешая отца, раздувают, увеличивают его до размеров колокольни,— утром солнце видит его раньше, чем ему станут заметны дома людей, и с последней с нею прощается, уходя в ночь. Но из этих жалоб Яков извлекал для себя поучительный вывод: жить так, как жил отец,— бессмысленно.

И всегда он видел, что после насыщения жалобами отцом овладевает горячий зуд, беспокойное желание обижать людей, издеваться над ними. Он шел к старухе жене, сидевшей у окна в сад, положив на колени ненужные руки, уставя пустые глаза в одну точку; он садился рядом с нею и зудел:

— О чем думаешь? Толста, а не видно тебя. Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елена-то забыла, не приезжает, а? Видно, опять нового любовника завела. А Илья — где?

Но жену дразнить было скучно, ее багровое лицо быстро потело слезами, казалось, что слезы льются не только из глаз ее, но выступают из всех точек туго надутой кожи щек, из двойного, рыхлого подбородка, просачиваются где-то около ушей.

— Ну, рассохлась,— брезгливо ворчал старик и уходил, отмахиваясь от нее, как от дыма. Нет, она не забавляла.

Якова он не дразнил, но сыну всегда казалось, что

отец смотрит на него с обидной жалостью. Иногда он вздыхал:

— Эх ты, пустоглазый...

Мирон был недоступен насмешкам, отец явно и боязливо сторонился его; это было понятно Якову. Мирона все боялись и на фабрике и дома, от матери и фарфоровой его жены до Гришки, мальчика, отворявшего парадную дверь. Когда Мирон шел по двору, казалось, что длинная тень его творит вокруг тишину.

Смеяться над рыженьким зятем не было удовольствия, этот сам себя умел высмеивать, он явно предпочитал ударить сам себя раньше, чем его побьет другой. Татьяна, беременная, очень вспухла, важно надула губы, после обеда лежала, читая сразу три книги, потом шла гулять; муж бежал рядом с нею, как пудель.

Артамонов старший приказывал запрячь лошадь и ехал в город дразнить брата и Тихона; Яков неоднократно слышал, как он делает это.

— Что, студент в клобуке, проюрдонил бога-то? — привязывался он к монаху.

Никита двигал горбом, крепко гладил ладонями длинных рук острые колена свои и тихо, жалобно говорил:

— Ой, напрасно это...

— Как — напрасно? Ты не ту шляпу носишь, эта у тебя шляпа фальшивая. Вся твоя одежда фальшивая. Какой ты монах?

— Моей души дело.

— Табак нюхаешь. Нет, проиграл ты, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте, она бы тебе благодарно детей родила, был бы ты теперь, как я, дед. А ты допустил — помнишь?

Медленно, как огромная черепаха, монах отползал прочь, а Петр Ильич Артамонов шел к Ольге, рассказывал ей о кутежах Алексея на ярмарке. Но это тоже не забавляло его; маленькая старушка после смерти мужа заразилась какой-то непоседливостью, она все ходила, передвигая мебель, переставляя вещи с места на место, поглядывая в окна. Ходила держа голову неподвижно, и хотя на носу ее красовались очки с толстыми стеклами, она жила наощупь, тыкая в пол пал-

кой, простирая правую руку вперед. А на злые рассказы старика она, усмехаясь, отвечала:

— Что хочешь говори; к такому, каким я знаю Алешу, ничего худого не пристанет, хорошего не прибавится.

— Верно сказал он про тебя: ты одним глазом смотришь.

— Обоими почти не вижу,— сказала Ольга. — Не вижу, вчера любимый его стакан фарфоровый разбила сослепа.

Пробовал Артамонов старший дразнить Тихона Вялова, но это было тоже трудно. Тихон не сердился, он, глядя вбок, покрякивал, отвечая кратко и спокойно.

— Долго ты живешь, — говорил Артамонов, Тихон резонно отвечал:

— Живут и больше.

— А вот зачем ты жил, а? Ты говори!

— Все живут.

— Верно, да — не всякий целую жизнь дворы метет, сор убирает...

У Тихона были свои мысли.

— Родился, ну, и живи до смерти,— говорил он, но Артамонов, не слушая его, продолжал:

— Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это — почему? Тебе еще отец мой другое место давал, а ты — не захотел, отвергся. Это что же за упрямство у тебя?

— Опоздал спросить, Петр Ильич,— ответил Тихон, глядя в сторону.

Сердясь, Артамонов настойчиво зудел:

— Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили...

— Копил, копил, да чорта и купил,— сказал Тихон, особенно кругло и густо произнося о̀.

Яков ждал, что отец рассердится, обругает Тихона, но старик, помолчав, пробормотал что-то невнятное и отошел прочь от дворника, который хотя и линял, лысел, становился одноцветным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищрениям старости, был все так же крепок телом, даже приобретал некое благообра-

зие, а говорил все более важно, поучающим тоном. Якову казалось, что Тихон говорит и ведет себя более «по-хозяйски», чем отец.

Сам Яков все яснее видел, что он лишний среди родных, в доме, где единственно приятным человеком был чужой — Митя Лонгинов. Митя не казался ему ни глупым, ни умным, он выскальзывал из этих оценок, оставаясь отличным от всех. Его значительность подтверждалась и отношением к нему Мирона; черствый, властный, всеми командующий Мирон жил с Митей дружно и хотя часто спорил, но никогда не ссорился, да и спорил осторожно. В доме с утра до вечера звучал разноголосый зов:

— Митя! — кричала Татьяна.

— Где Митя? — спрашивала мать, и даже отец рычал, высунувшись в окно:

— Митрий,— обедать пора!

Митя бегал по фабрике лисьим бегом и ловко заметал пушистым хвостом смешных слов, веселых шуточек сухую, обидную строгость Мирона с рабочими и служащими. Рабочих он называл друзьями.

— Дружище, это — не так! — говорил он бородатому, солидному десятнику плотников, выхватывал из кармана книжечку в красной коже, карандаш или чертил что-то на доске и спрашивал:

— Видишь? Так? И — так? И вот так? Вышло?

— Правильно,— соглашался десятник. — А мы всё по старинке, как привыкли...

— Нет, милая личность, надо привыкать к новому,— выгоднее!

Десятник соглашался:

— Правильно.

Своею бойкою игрою с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нем не заметно было хозяйской жадности, веселым балагурством он весьма напоминал плотника Серафима, это было замечено и отцом; както во время ужина, когда Митя размел, рассеял сердитое настроение за столом, отец, ухмыляясь, проворчал:

— Вот тоже, был у нас Утешитель, Серафим... да!

Яков слышал, как однажды, после обычного столкновения отца с Мироном, Митя сказал Мирону:

— Соединение страшненького и противненького с жалким,— чисто русская химия!

И тотчас же утешил:

— Но — ничего! Это скоро пройдет, изживется. Мы — очищаемся...

Праздничным вечером, в саду за чаем, отец пожаловался:

— Я без праздника прожил! — Зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:

— Это — ваша ошибка и ничья больше! Праздники устанавливает для себя человек. Жизнь — красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры, жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости.

Говорил он долго, ловко, точно на дудочке играя, и все за столом примолкли; всегда бывало так, что, слушая его, люди точно засыпали; Яков тоже испытывал обаяние его речей, он чувствовал в них настоящую правду, но ему хотелось спросить Митю:

«Зачем же ты женился на некрасивой, глупой девице?»

Яков видел в его отношении к жене нечто фальшивое, слишком любезное, подчеркнутую заботливость; Якову казалось, что и сестра чувствует эту фальшь, она жила уныло, молчаливо, слишком легко раздражалась и гораздо чаще, оживленнее беседовала о политике с Мироном, чем с веселым мужем своим. Кроме политики, она не умела говорить ни о чем.

Иногда Яков думал, что Митя Лонгинов явился не из веселой, беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной, темной ямы, дорвался до незнакомых, новых для него людей и от радости, что, наконец, дорвался, пляшет пред ними, смешит, умиляется обилию их, удивлен чем-то. Вот в этом его удивлении Яков подмечал нечто глуповатое; так удивляется мальчишка в магазине игрушек, но — мальчишка, умно и сразу отличающий, какие игрушки лучше.

Из всех людей в доме и на фабрике двое определенно не любили Татьянина мужа: дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова: как ему нравится Митя,— дворник спокойно ответил:

— Неверный.
— Чем?
— Муха. На всякую дрянь садится.

Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного:

— Сам видишь, Яков Петрович,— сказал он. — Видишь, ведь: человек фигуры выдумывает.

Дядя, монах, сказал почти то же:

— Пылит,— сказал он, вздохнув. — Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему: горох, а он тебе: горы, ох... Да, да.

Было странно слышать, что этот кроткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно не свойственной ему. И еще более удивляло единогласие Тихона и дяди в оценке мужа Татьяны, — старики жили несогласно, в какой-то явной, но немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков еще раз видел надоевшую ему человеческую глупость: в чем могут быть не согласны люди, которых завтра же опрокинет смерть?

Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упреками:

— Я весь век жил в людях волом, а ты — живешь котом. Все заботятся устроить тебе потеплее, помягче и даже будто не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой? Я всю жизнь...

Втягивая голову в горб, монах просил, покашливая:

— Ты — не сердись.

Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову, это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе:

«Отец. От него я родился».

Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город как бы для того, чтоб наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов старший влезал на чердак и садился

у постели монаха, уставив на него воспаленные, красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок; руки у него стали беспокойны, он все одергивал рясу, обирал с нее что-то невидимое. Иногда он вставал, задыхаясь от кашля.

— Хрустишь? — спрашивал брат.

Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев; ряса висела на нем, как парус на сломанной мачте; садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад, и в даль, на темную, сердитую щетину леса.

— Ну, отдохни,— говорил брат, дергая дряблую мочку уха, спускался вниз и оповещал Ольгу:

— Хрустит. Скоро уж...

Приезжал толстый монах, отец Мардарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу:

— После отвезете туда, когда умру.

И жалобно, трижды попросил:

— Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давила. Уж не забудьте!

Умер он за четыре дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь:

— Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть.

Утром, в день смерти его, Яков помог отцу подняться на чердак, отец, перекрестясь, уставился в темное, испепеленное лицо с полузакрытыми глазами, с провалившимся ртом; Никита неестественно громко сказал:

— Прости меня.

— Ну, что ты? За что? — проворчал Петр Артамонов.

— За дерзость мою...

— Меня прости, — сказал старший. — Я тут, иной раз, шутил с тобой...

— Бог шутку не осудит,— шопотом уверил монах, а брат, помолчав, спросил:

— Вот, как ты теперь?.. Куда?

— Забыл я,— торопливо заговорил монах, прервав брата.— Ты, Яша, скажи Тихону, спилил бы он кленок у беседки, не пойдет кленок, нет...

Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески поднявшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей, покрытых черным, в руках, державших поморский, медный крест. Жалко было дядю, но все-таки думалось: зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех?

Подождав, не скажет ли брат еще чего, отец ушел под руку с Яковом, молчаливо опустив голову. Внизу он сказал:

— Умирает.

— Да? — спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты; спросив, он не отвел от нее глаз, но затем бросил газету на стол и сказал в угол жене:

— Я был прав,— читай!

Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила:

— Неужели, Мирон, неужели война?

— Вот и второй Артамонов,— громко напомнил Петр.

— Врут, конечно,— сказал Мирон жене или Якову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая: чем все это грозит ему? Артамонов старший, махнув рукою, пошел на двор, там солнце до того накалило булыжник, что тепло его проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапогов. Из окна сыпались сухонькие, поучающие слова Мирона; Яков, стоя с газетой в руках у окна, видел, как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком.

На третий день, рано утром, приехали монахи, их было семеро, все разного роста и объема, они показались Якову неразличимыми, как новорожденные. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и не подобающим ни монаху, ни случаю громким, веселым голосом, тот, который шел впереди всех с большим черным крестом в руках, как будто не имел

лица: был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп; он пел на три голоса:

«Святый боже», — низко, почти басом;

«Святый крепкий», — выше, тенористо, а —

«Святый бессмертный, помилуй нас!» — так пронзительно, что мальчишки, забегая вперед, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трехголосого рта.

Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными, солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат, его освещало солнце; конусообразные попы и дьякона стояли тоже золотыми истуканами, они таяли, плавились на солнце, сияние риз тоже падало на поручика Маврина; впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою.

Трехголосый монах, покачивая черным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал:

— Расступитесь!

Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей длинной лошадью Экке, помощника исправника,— взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперек улицы и закричал упрекающе, обиженно:

— К-куда? Что вы, не видите? Назад!

Монах, подняв крест, затянул:

— Святый бо-о...

— Ур-ра! — крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъяренно рявкнул:

— Ур-рра-а...

А Экке, привстав на стременах, тоже кричал:

— Петр Ильич, пож-жалуйста, переулочком! В обход! Мирон Алексеевич — прошу вас! Тут — воодушевление, а вы — как же это?

Артамонов старший, стоя у изголовья гроба, поддер-

живаемый женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб:

— Сворачивайте, отцы...

И, всхлипнув, добавил:

— Последний раз, видно, распоряжаюсь...

Все это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным, но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидал ее быстро шагающей встречу похоронам, она шла в белом платье, под розовым зонтиком, и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь.

«Мавриным любоваться идет»,— тотчас же сообразил он и задохнулся пылью, раздражением. Монахи пошли быстрее, чернобородый стал петь тише, задумчивей, а хор певчих и совсем замолчал. За городом, против ворот бойни, стояла какая-то странная телега, накрытая черным сукном, запряженная парой пестрых лошадей, гроб поставили на телегу и начали служить панихиду, а из улицы, точно из трубы, доносился торжественный рев меди, музыка играла «Боже царя храни», звонили колокола трех церквей и притекал пыльный, дымный рык:

— Р-р-р-а-а!

Якову казалось, что он слышит команду поручика Маврина:

— Р-но-о!

После панихиды пришлось ехать в дом тетки, долго сидеть за поминальным столом, слушая сердитую воркотню отца:

— Какой дурак распорядился поставить лошадей против бойни, а?

— Полиция, полиция,— успокаивал Митя и объяснял: — неудобно, знаете: национальное воодушевление, а тут — похоронные дроги! Не совпадает...

Мирон, слизнув улыбку с губ своих, говорил доктору Яковлеву, который был особенно заметен в тяжелые, неприятные дни:

— Но если мы дружно навалимся брюхом, как Митька в «Князе Серебряном»... В конце концов — все на свете решается соотношением чисел...

— Техникой,— возразил доктор.

— Техника? Ну, да... Но...

Только вечером, в десятом часу, Яков мог вырваться из этой скучной канители и побежал к Полине, испытывая тревогу, еще никогда до этого часа неизведанную им, предчувствуя, что должно случиться нечто необыкновенное. Конечно, это и случилось.

— Ох,— сказала кухарка Полины, когда Яков, пройдя двором, вошел в кухню, — сказала и грузно опустилась на скамью у печи.

— Сводня, подлая,— ответил Яков и остановился пред дверью в комнату, прислушиваясь к четким, солдатским шагам и знакомому, военному голосу:

— Так вот, надо сообразить — так или не так?.. Сообразите же!

«На вы говорит,— сообразил Яков,— может быть, еще ничего не было».

Но, открыв дверь, стоя на пороге ее, он тотчас убедился, что все уже было: хладнокровный поручик, строго сдвинув брови, стоял среди комнаты в расстегнутом кителе, держа руки в карманах, из-под кителя было видно подтяжки, и одна из них отстегнута от пуговицы брюк; Полина сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, чулок на одной ноге спустился винтом, ее бойкие глаза необычно круглы, а лицо, густо заливаясь румянцем, багровеет.

— Н-ну-с? — спросил хладнокровный поручик и вопросом своим окончательно утвердил все подозрения Якова. Он шагнул вперед, бросил шляпу на стул и сказал незнакомым себе, сорвавшимся голосом:

— Я — с похорон... с поминок...

— Да-с? — вопросительно, тоном хозяина отозвался поручик, Полина, затянувшись так, что папироса затрещала, сказала с дымом, но не виновато, а небрежно:

— Ипполит Сергеевич уговаривает меня итти в сестры милосердия...

— В сестры? М-да,— произнес Яков, усмехаясь,— тогда хладнокровный поручик, шагнув к нему, отчетливо спросил:

— Что значит эта усмешка? Прошу помнить: я преувеличений н-не люблю-с! Не терплю!

В эти две, три минуты Яков испытал, как сквозь него прошли горячие токи обиды, злости, прошли и оставили в нем подавляющее, почти горестное сознание, что маленькая женщина эта необходима ему так же, как любая часть его тела, и что он не может позволить оторвать ее от него. От этого сознания к нему вновь возвратился гнев, он похолодел, встал, сунул руку в карман.

— Не подходи! — предупредил он поручика, чувствуя, что у него выкатываются глаза, так что им больно.

— Эт-то почему? — спросил поручик и шагнул еще. Его противная манера удваивать буквы в словах всегда не нравилась Якову, а в эту минуту привела его в бешенство, он хотел выдернуть руку из кармана, крикнул:

— Убью!

Поручик Маврин схватил его за руку, мучительно сжал ее у кисти, револьвер глухо выстрелил в кармане, затем рука Якова с резкой болью как бы сломалась в локте, вырвалась из кармана, поручик взял из его пальцев револьвер и, бросив его на кресло, сказал:

— Не вышло!

— Яша, Яша! — слышал Артамонов громкий шопот.— Ипполит Сергеевич,— господа! Вы с ума сошли? Из-за чего? Ведь это — скандал! Из-за чего же?

— Н-ну,— оглушительно сказал хладнокровный поручик, взяв Якова за бороду, дергая ее вниз и этим заставляя кланяться ему: — Проси — прощенья — дурак!

С каждым словом, и рассекая длинные надвое, он дергал бороду вниз, потом легким ударом в подбородок заставлял поднимать ее.

— Ой, как стыдно, ой! — шептала Полина, хватая поручика за локоть.

Яков не мог двигать правой рукою, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой; он мычал, по щекам его текли слезы унижения.

— Не сметь меня касаться! — рявкнул поручик и, оттолкнув его, посадил в кресло, на револьвер. Тогда Яков, закрыв лицо руками, скрывая слезы, замер в полуобмороке, едва слыша, сквозь гул в голове, крики Полины:

— Боже мой, как это неблагородно! И это вы, вы! Такой скандал! За что?

— Идите к чорту, барышня! — сказал поручик чугунным голосом.— Вот вам целковый за удовольствие,— эт-того достаточно! Я не выношу преувеличений, но вы самая обыкновенная...

Растаптывая пол тяжелыми ударами ног, поручик, хлопнув дверью, исчез, оставив за собой тихий звон стекла висячей лампы и коротенький визг Полины. Яков встал на мягкие ноги, они сгибались, все тело его дрожало, как озябшее; среди комнаты под лампой стояла Полина, рот у нее был открыт, она хрипела, глядя на грязненькую бумажку в руке своей.

— Сволочь,— сказал Яков.— Зачем ты это сделала? А — говорила... Убить надо тебя...

Женщина взглянула на него, бросила бумажку на пол и хрипло, с изумлением, протянула:

— Ка-акой негодяй...

Она опустилась в кресло, согнулась, схватив руками голову, а Яков, ударив ее кулаком по плечу, крикнул:

— Пусти! Дай револьвер...

Не шевелясь, она все так же изумленно спросила:

— Так ты меня любишь?

— Ненавижу!

— Врешь! Любишь теперь!

Она прыгнула на него так быстро, что Яков не успел оттолкнуть ее, она обняла его за шею и, с яростной настойчивостью, обжигая кусающими поцелуями, горячо дыша в глаза, в рот ему, шептала:

— Врешь, любишь, любишь. И я тоже — на! Ах, ты, мягкий, Солененький мой...

Солененький — ее любимое ласкательное словечко, она произносила его только в минуты исключительно сильного возбуждения, и оно всегда опьяняло Якова до какого-то сладостного и нежного зверства. Так слу-

чилось и в эту минуту; он мял, щипал, целовал ее и бормотал, задыхаясь:

— Дрянь. Паскудница. Ведь знаешь...

Через час он сидел на кушетке, она лежала на коленях у него; покачивая ее, он с удивлением думал: «Как быстро все прошло!..»

А она утомленно говорила:

— Озлилась я, хотела бросить тебя. Ты все хлопочешь о своих, хоронишь, а мне скучно... И я не знала: любишь ты меня? Теперь будешь крепче любить, ревновать будешь потому что. Когда есть ревность...

— Уехать бы отсюда,— устало сказал Яков.

— Да. В Париж. Я могу говорить по-французски.

Огня они не зажгли, в комнате было темно и душно, на улице кричали запасные солдаты, бабы, хотя было поздно, за полночь.

— Теперь за границу не уедешь, там — война,— вспомнил Яков.— Война, чорт их возьми...

Женщина снова заговорила о своем:

— Без ревности только собаки любят. Ты посмотри: все драмы, романы — все из ревности...

Яков усмехнулся, вздрогнув:

— Хорошо выстрелил револьвер, пуля могла в ногу мне попасть, а вот только на брюках дырочка.

Полина сунула в дырочку палец и вдруг, всхлипнув, сказала с тихой, но лютой злобой:

— Ах, жалко, что ты не успел выстрелить в него! В тугой бы, в резиновый живот ему!

— Молчи! — сказал Яков, сильно тряхнув ее, но она продолжала, присвистывая сквозь зубы и все так же люто:

— Подлец! Как обругал меня! Какие вы все... Ничего вы не понимаете в женщине!

И, вздернув распухшие губы, показывая крепко сжатые лисьи зубы, она дополнила:

— Ведь если женщина изменила, это вовсе не значит, что она уже не любит!

— Молчи, говорю! — крикнул Яков и тиснул ее так, что она застонала:

— Ой, вот я чувствую, любишь! Яша, Солененький мой...

Он ушел от нее на рассвете легкой походкой, чувствуя себя человеком, который в опасной игре выиграл нечто ценное. Тихий праздник в его душе усиливало еще и то, что когда он, уходя, попросил у Полины спрятанный ею револьвер, а она не захотела отдать его, Яков принужден был сказать, что без револьвера боится итти, и сообщил ей историю с Носковым. Его очень обрадовал испуг Полины, волнение ее убедило его, что он действительно дорог ей, любим ею. Ахая, всплескивая руками, она стала упрекать его:

— Почему ты не сказал мне об этом?

И тревожно размышляла:

— Конечно, это очень интересно — сыщик! Вот, например, Шерлок Холмс,— ты читал? Но ведь у нас, наверное, и сыщики — тоже негодяи?

— Конечно,— подтвердил Яков.

Отдавая ему револьвер, она захотела проверить, хорошо ли он стреляет, и уговорила Якова выстрелить в открытую печку, для чего Якову пришлось лечь животом на пол; легла и она; Яков выстрелил, из печки на них сердито дунуло золой, а Полина, ахнув, откатилась в сторону, потом, подняв ладонь, тихо сказала:

— Смотри!

В крашеной половице была маленькая, косо и глубоко идущая дырка.

— Как подумаешь, что туда ушла смерть! — сказала Полина, вздыхая, нахмурив тонко вычерченные брови.

И никогда еще Яков не видел ее такой милой, не чувствовал так близко к себе. Глаза ее смотрели по-детски удивленно, когда он рассказывал о Носкове, и ничего злого уже не было на ее остреньком лице подростка.

«Не чувствует вины»,— с удивлением подумал Яков, и это было приятно ему.

Провожая его, она говорила, гладя бороду Якова:

— Ах, Яша, Яша! Так вот как, значит! Мы — серьезно? Ах, боже мой... Но этот подлец!

Сжала пальцы рук в один кулак и, потрясая им, негодуя, пожаловалась:

— Господи, сколько подлецов!

Но вдруг, схватив руку Якова, задумчиво нахмурилась, тихонько говоря:

— Постой, постой! Тут есть одна барышня, ах, разумеется!

Просияла и, перекрестив Якова, отпустила его:

— Иди, Солененький!

Утро было прохладное, росистое; вздыхал предрассветный ветер, зеленовато-жемчужное небо дышало запахом яблоков.

«Конечно, она это со зла наблудила, и надо жениться на ней, как только отец умрет»,— великодушно думал он и тут же вспомнил смешные слова Серафима Утешителя:

«Всякая девица — утопающая, за соломину хватается. Тут ее и лови!»

Тревожила мысль о хладнокровном поручике, он не похож на соломинку, он обозлился и, вероятно, будет делать пакости. Но поручика должны отправить на войну. И даже о Носкове Якову Артамонову думалось спокойнее, хотя он, подозрительно оглядываясь, чутко прислушивался и сжимал в кармане ручку револьвера,— чаще всего Носков ловил Якова именно в эти часы.

Но прошло недели две, и страх пред охотником снова обнял Артамонова чадным дымом. В воскресенье, осматривая лес, купленный у Воропонова на сруб, Яков увидал Носкова, он пробирался сквозь чащу, увешанный капканами, с мешком за спиною.

— Счастливая встреча для вас,— сказал он, подходя, сняв фуражку; носил он ее по-солдатски: с заломом верхнего круга на правую бровь и, снимая, брал не за козырек, а за верх.

Не отвечая на его странное приветствие, в котором чувствовалась угроза, Яков сжал зубы и судорожно стиснул револьвер в кармане. Носков тоже молчал с минуту, расковыривал пальцем подкладку фуражки и не смотрел на Якова.

— Ну? — спросил Артамонов; Носков поднял собачьи глаза и, приглаживая дыбом стоявшие, жесткие волосы, проговорил отчетливо:

— Ваша любовь, то есть Пелагея Андреевна, познакомилась с дочерью попа Сладкопевцева, так вы ей скажите, чтобы она это бросила.

— Почему?

— Так уж...

И, послушав звон колоколов в городе, охотник прибавил:

— Даю совет от души, желая добра. А вы мне подарите рубликов...

Он посмотрел в небо и сосчитал:

— Тридцать пять.

«Застрелить, собаку!» — думал Яков Артамонов, отсчитывая деньги.

Охотник взял бумажки, повернулся на кривых ногах, звякнув железом капканов, и, не надев фуражку, полез в чащу, а Яков почувствовал, что человек этот стал еще более тяжко неприятен ему.

— Носков! — негромко позвал он, а когда тот остановился, полускрытый лапами елок, Яков предложил ему:

— Бросил бы ты это!

— Зачем? — спросил Носков, высунув голову вперед, и Артамонову показалось, что в пустых глазах Носкова светится что-то боязливое или очень злое.

— Опасное дело,— объяснил Яков.

— Надо уметь,— сказал Носков, и глаза его погасли.— Для неумеющего — все опасно.

— Как хочешь.

— Против своей пользы говорите.

— Какая же тут польза, во вражде,— пробормотал Яков, жалея, что заговорил со шпионом.

«Туда же,— рассуждает, идиот...»

А Носков поучительно сказал:

— Без этого — не живут. У всякого — своя вражда, своя нужда. До свидания!

Он повернулся спиною к Якову и вломился в густую зелень елей. Послушав, как он шуршит колкими ветвями, как похрустывают сухие сучья, Яков быстро пошел на просеку, где его ждала лошадь, запряженная в дрожки, и погнал в город, к Полине.

— Вот — подлец! — почти радостно удивилась Полина.— Уже узнал, что она приходит ко мне? Скажите, пожалуйста!

— Зачем ты знакомишься с такими? — сердито упрекнул Яков, но она тоже сердито, дергая желтый газовый шарфик на груди своей, затараторила:

— Во-первых — это надо для тебя же! А во-вторых — что же мне кошек, собак завести, Маврина? Я сижу одна, как в тюрьме, на улицу выйти не с кем. А она — интересная, она мне романы, журналы дает, политикой занимается, обо всем рассказывает. Я с ней в гимназии у Поповой училась, потом мы разругались...

Тыкая его пальцем в плечо, она говорила все более раздраженно:

— Ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши, — нужна, когда грязно, вот! У нее роман с вашим доктором, и они это не скрывают, а ты меня прячешь, точно болячку, стыдишься, как будто я кривая или горбатая, а я — вовсе не урод...

— Погоди, — сказал Яков, — женюсь! Серьезно говорю, хотя ты и свинья...

— Еще вопрос, кто из нас свиноватее! — крикнула и ребячливо расхохоталась, повторяя: — Свиноватее, виноватее, — запуталась! Солененький мой... Милый ты, не жадный! Другой бы молчал; ведь тебе шпион этот полезен...

Как всегда, Яков ушел от нее успокоенный, а через семь дней рано утром табельщик Елагин, маленький, рябой, с кривым носом, сообщил, что на рассвете, когда ткачи ловили бреднем рыбу, ткач Мордвинов, пытаясь спасти тонувшего охотника Носкова, тоже едва не утоп и лег в больницу. Слушая гнусавый доклад, Яков сидел, вытянув ноги для того, чтоб глубже спрятать руки в карманы, руки у него дрожали:

«Утопили», — думал он и, представляя себе добродушного Мордвинова, человека с мягким, бабьим лицом, не верил, чтоб этот человек мог убивать кого-то.

«Счастливый случай»,— думал он, облегченно вздыхая. Полина тоже согласилась, что это — счастливый случай.

— Конечно, — лучше так, — сказала она серьезно нахмурясь, потому что, если б как-нибудь иначе убивали его — был бы шум.

Но — пожалела:

— Было бы интереснее поймать его, заставить раскаяться и — повесить или расстрелять. Ты читал...

— Ерунду говоришь, Полька, — прервал ее Яков.

Прошло несколько тихих дней, Яков съездил в Воргород, возвратился, и Мирон, озабоченно морщась, сказал:

— У нас еще какая-то грязная история; по предписанию из губернии Экке производит следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовал Мордвинова, Кирьякова, кочегара Кротова, шута горохового, — всех, кто ловил рыбу с охотником. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое... Не в надорванном ухе, конечно...

Он остановился у рояля, раскачивая пенсне на пальце, глядя в угол прищуренными глазами. В измятой шведской куртке, в рыжеватых брюках и высоких, по колено, пыльных сапогах, он был похож на машиниста; его костистые, гладко обритые щеки и подстриженные усы напоминали военного; малоподвижное лицо его почти не изменялось, что бы и как бы он ни говорил.

— Идиотское время! — раздумчиво говорил он. — Вот, влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости; воевать с глупостью — не умеем, нет сил. А все наши задачи, пока, — внутри страны. В крестьянской земле рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии — купеческий сын Илья Артамонов, человек сословия, призванного совершить великое дело промышленной и технической европеизации страны. Нелепость на нелепости! Измена интересам сословия должна бы караться, как уголовное преступление, в сущности, это государственная измена... Я понимаю какого-нибудь интеллигента, Горицветова, который ни с чем не связан, которому некуда девать себя, потому что он бездарен, нетрудоспособен и может

только читать, говорить; я вообще нахожу, что революционная деятельность в России — единственное дело для бездарных людей...

Якову казалось, что брат говорит, видя пред собою полную комнату людей, он все более прищуривал глаза и наконец совсем закрыл их. Яков перестал слушать его речь, думая о своем: чем кончится следствие о смерти Носкова, как это заденет его, Якова?

Вошла беременная, похожая на комод, жена Мирона, осмотрела его и сказала усталым голосом:

— Поди, переоденься!

Мирон покорно взбросил пенсне на нос и ушел.

Через месяц приблизительно всех арестованных выпустили; Мирон строго, не допускающим возражений голосом, сказал Якову:

— Рассчитай всех.

Яков давно уже, незаметно для себя, привык подчиняться сухой команде брата, это было даже удобно, снимало ответственность за дела на фабрике, но он все-таки сказал:

— Кочегара надо бы оставить.

— Почему?

— Веселый. Давно работает. Развлекает людей.

— Да? Ну, пожалуй, оставим.

И, облизнув губы, Мирон сказал:

— Шуты, действительно, полезны.

Некоторое время Якову казалось, что в общем все идет хорошо, война притиснула людей, все стали задумчивее, тише. Но он привык испытывать неприятности, предчувствовал, что не все они кончились для него, и смутно ждал новых. Ждать пришлось не очень долго, в городе снова явился Нестеренко под руку с высокой дамой, похожей на Веру Попову; встретив на улице Якова, он, еще издали, посмотрел сквозь него, а, подойдя, поздоровавшись, спросил:

— Можете зайти ко мне через час? Я — у тестя. Знаете — жена моя умирает. Так что я вас попрошу: не звоните с парадного, это обеспокоит больную, вы — через двор. До свидания!

Час был тяжел и неестественно длинен, и когда Яков Артамонов устало сел на стул в комнате, за-

ставленной книжными шкафами, Нестеренко, тихо и прислушиваясь к чему-то, сказал:

— Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что: дама вашего сердца, Пелагея Назарова, знакома с девицей Сладкопевцевой, на-днях арестованной в Воргороде. Знакома?

— Не знаю, — сказал Яков и сразу весь вспотел, а жандарм поднес руку свою к носу и, рассматривая ногти, сказал очень спокойно:

— Знаете.

— Кажется — знакома.

— Вот именно.

«Что ему надо?» — соображал Яков, исподлобья рассматривая серое, в красных жилках, плоское лицо с широким носом, мутные глаза, из которых как будто капала тяжкая скука и текли остренькие струйки винного запаха.

— Я говорю с вами не официально, а как знакомый, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы, — слышал Яков сиповатый голос.— Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой... стрелок! — Жандарм усмехнулся, помолчал и объяснил:

— Я говорю — стрелок, потому что мне известен еще один случай неудачного пользования вами огнестрельным оружием. Да, так вот, видите ли: девица Сладкопевцева знакома с Назаровой, дамой вашего сердца. Теперь — сообразите: род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я — исключаюсь из этой цепи знакомств. Носков был не глуп, хотя — вял и...

Нестеренко, вздохнув, посмотрел под стол:

— Ничто не вечно. Остаетесь — вы...

Якову Артамонову казалось, что изо рта офицера тянутся не слова, но тонкие, невидимые петельки, они захлестывают ему шею и душат так крепко, что холодеет в груди, останавливается сердце и все вокруг, качаясь, воет, как зимняя вьюга. А Нестеренко говорил с медленностью — явно нарочитой:

— Я думаю, я почти уверен, что вами была до-

пущена некоторая неосторожность в словах, да? Вспомните-ка!

— Нет, — тихо сказал Яков, опасаясь, как бы голос не выдал его.

— Так ли? — спросил офицер, размахнув усы красными пальцами.

— Нет, — повторил Яков, качая головою.

— Странно. Очень странно. Однако — поправимо. Вот что-с: Носкова нужно заменить таким же человеком, полезным для вас. К вам явится некто Минаев, вы наймете его, да?

— Хорошо, — сказал Яков.

— Вот и все. Кончено. Будьте осторожны, прошу вас! Никаким дамам — ни-ни! Ни слова. Понимаете?

«Он говорит как с мальчишкой, с дураком», — подумал Яков.

Потом жандарм говорил о близости осеннего перелета птиц, о войне и болезни жены, о том, что за женою теперь ухаживает его сестра.

— Но — надо готовиться к худшему, — сказал Нестеренко и, взяв себя за усы, приподнял их к толстым мочкам ушей, приподнялась и верхняя губа его, обнажив желтые косточки.

«Бежать, — думал Яков. — Запутает он меня. Уехать».

«Чорт вас всех возьми, — думал он, идя берегом Оки. — На что вы мне нужны? На что?»

Мелкий дождь, предвестник осени, лениво кропил землю, желтая вода реки покрылась рябью; в воздухе, теплом до тошноты, было что-то еще более углублявшее уныние Якова Артамонова. Неужели нельзя жить спокойно, просто, без всех этих ненужных, бессмысленных тревог?

Но, как обоз в зимнюю метель, двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные необычно тревожным.

Пришел с войны один из Морозовых, Захар, с Георгиевским крестом на груди, с лысой, в красных язвах, обгоревшей головою; ухо у него было оторвано, на месте правой брови — красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный, мертвый глаз, а другой глаз

смотрел строго и внимательно. Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым, и хромой ученик Серафима Утешителя запел, заиграл:

Эх, ветер дует, дождь идет,
Я лежу в окопе,
Помогаю, идиёт,
Воевать Европе!

Яков спросил Морозова:

— Что, Захар, плохо воюем?

— Хорошо-то нечем,— ответил ткач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара.

— Хозяина нет у нас, Яков Петрович,— говорил он в лицо хозяину.— Хозяйствуют жулики.

Этот человек и Васька-кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажженные во тьме осенней ночи. Когда веселый Татьянин муж нарядился в штаны с широкой, до смешного, мотней и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель, кочегар посмотрел на него и запел:

Вот так брючки для растяп!
Сразу видно разницу:
Одни — голову растят,
А другие — задницу!

К удивлению Якова, зять не обиделся на эту насмешку, а захохотал, явно поощряя кочегара на дальнейшее словесное озорство. Рабочие тоже смеялись, и особенно хохотала фабрика, когда Захар Морозов привел на двор мохнатого кутенка, с пушистым, геройски загнутым на спину хвостом, на конце хвоста, привязан мочалом, болтался беленький Георгиевский крест. Мирон не стерпел этого озорства, Захара арестовала полиция, а кутенок очутился у Тихона Вялова.

По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всякие изломанные люди в солдатских шинелях, и все вокруг окрашивалось в гнойный цвет их одежды. Изломанных, испорченных солдат водили на прогулки городские дамы, дамами командовала худая, тонкая, похожая на метлу, Вера Попова, она привлекла к этому делу и Полину, но та, потряхивая головою, кричала, жаловалась:

— Ой, нет, я не могу! Это безобразие! Ты посмотри, Яша, они все молодые, здоровые и все изувечены, и такой запах от них,— не могу! Послушай — уедем!

— Куда? — уныло спрашивал Яков, видя, что его женщина становится все более раздражительной, страшно много курит и дышит горькой гарью. Да и вообще все женщины в городе, а на фабрике — особенно, становились злее, ворчали, фыркали, жаловались на дороговизну жизни, мужья их, посвистывая, требовали увеличения заработной платы, а работали все хуже; поселок вечерами шумел и рычал по-новому громко и сердито.

Среди рабочих мелькал солидный слесарь Минаев, человек лет тридцати, черный и носатый, как еврей. Яков боязливо сторонился его, стараясь не встречаться со взглядом слесаря, который смотрел на всех людей темными глазами так, как будто он забыл о чем-то и не может вспомнить.

Грязным обломком плавал по двору отец, едва передвигая больные ноги. Теперь на его широких плечах висела дорожная лисья шуба с вытертым мехом, он останавливал людей, строго спрашивая:

— Куда идешь?

А когда ему отвечали, махал рукою, бормотал:

— Ну, ступай. Бездельники. Клопы, моей кровью живете!

Его лиловатое, раздутое лицо брезгливо дрожало, нижняя губа отваливалась, за отца было стыдно пред людями. Сестра Татьяна целые дни шуршала газетами, тоже чем-то испуганная до того, что у нее уши всегда были красные. Мирон птицей летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратясь, топал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал о пьяном, распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю.

— В живого такого мужика — не верю! — упрямо говорила полуслепая Ольга, сидя рядом со снохой на диване, где возился и кричал ее двухлетний сын Платон. — Это нарочно выдумано, для примера...

— Это замечательно! — возглашал веселый Татьянин муж.— Это — изумительно! Деревня — мстит! Ага?

Он радостно потирал жирненькие руки свои, обросшие рыжей шерстью. Он один уверенно ждал какого-то праздника.

— Боже мой! — с досадой восклицала Татьяна. — Что тебя радует? Не понимаю!

Удивленно открыв рот, Митя каркал:

— Ка-ак? Ты — не понимаешь? Так пойми же! За все, что она претерпела, деревня — мстит! В лице этого мужика она выработала в себе разрушающий яд...

— Позвольте! — морщась, сказал Мирон. — Еще недавно вы говорили иное...

Но Митя почти исступленно, захлебываясь словами, говорил проникновенным шопотом:

— Это — символ, а не просто — мужик! Три года тому назад они праздновали трехсотлетний юбилей своей власти и вот...

— Чепуха,— резко сказал Мирон; доктор Яковлев, как всегда, усмехался, а Яков Артамонов думал, что если эти речи станут известны жандарму Нестеренке...

— Зачем вы все это говорите? — спрашивал он. — Какой толк?

И уговаривал:

— Перестаньте!

Он замечал, что и Мирон необыкновенно рассеян, встревожен, это особенно расстраивало Якова. В конце концов из всех людей только один Митя оставался таким же, каким был, так же вертелся волчком, брызгал шуточками и по вечерам, играя на гитаре, пел:

Жена моя в гробу...

Но Татьяне уже не нравились его песенки.

— Фу, как это надоело! — говорила она и шла к детям.

Митя ловко умел успокаивать рабочих; он посоветовал Мирону закупить в деревнях муки, круп, гороха, картофеля и продавать рабочим по своей цене, начисляя только провоз и утечку. Рабочим это понравилось, а Якову стало ясно, что фабрика верит веселому человеку больше, чем Мирону, и Яков видел, что Мирон все чаще ссорится с Татьяниным мужем...

— Вы хотите держать нос по ветру? — четко, не скрывая злобы, спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает:

— Воля народа... право народа...

— Я спрашиваю: кто же, собственно, вы? — кричит Мирон.

— Будет вам орать, — ворчит Артамонов старший, но Яков видит в тусклых глазах отца искорки удовольствия, старику приятно видеть, как ссорятся зять и племянник, он усмехается, когда слышит раздраженный визг Татьяны, усмехается, когда мать робко просит:

— Налей мне, Таня, еще чашечку...

Все новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Вдруг совершенно ослепшая тетка Ольга простудилась и через двое суток умерла, а через несколько дней после ее смерти город и фабрику точно громом оглушило: царь отказался от престола.

— Что ж теперь — республика будет? — спросил Яков брата, радостно воткнувшего нос в газету.

— Республика, конечно! — ответил Мирон, склонясь над столом; он упирался ладонями в распластанный лист газеты так, что бумага натянулась и вдруг лопнула с треском. Якову это показалось дурным предзнаменованием, а Мирон разогнулся, лицо у него было необыкновенное, и он сказал не свойственным ему голосом, крикливо, но ласково:

— Начнется выздоровление, обновление России, — вот что, брат!

И размахнул руками, как бы желая обнять Якова, но тотчас одну руку опустил, а другую, подержав протянутой, поднял, поправил пенсне, снова протянул руку, стал похож на семафор и заявил, что завтра же вечером едет в Москву.

Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик, он кричал:

— Теперь все пойдет отлично; теперь народ скажет, наконец, свое мощное слово, давно назревшее в душе его!

Мирон уже не спорил с ним, задумчиво улыбаясь, он облизывал губы; а Яков видел, что так и есть: все пошло отлично, все обрадовались, Митя с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге, рабочие кричали ура, потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок, в большой мяч, и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе, казалось, что у него отрываются и руки и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих, и огромный, жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему:

— Митрий Павлов, ты — удобный человек, удобный, — понял? Ребята — уру ему!

Кричали ура, а кочегар Васька, приплясывая, блестя лысоватым черепом, орал, точно пьяный:

Эх,— далеко люди сидели
От царева трона!
Подошли да поглядели —
На троне — ворона!

— Делай, Вася! — поощряли его.

Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх,— не подхватят на руки, и тогда он расшибется о землю. А вечером, сидя в конторе, он услыхал на дворе под окном голос Тихона:

— Зачем отнял кутенка? Ты продай его мне. Я из него хорошую собаку сделаю.

— Э, старик, разве теперь время собак воспитывать? — ответил Захар Морозов.

— А ты чего делаешь? Продай, возьми целковый, ну?

— Отстань.

Яков, выглянув из окна, сказал:

— Царь-то, Тихон, а?

— Да, — отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул.

— Свергли царя-то!

Тихон наклонился, подтягивая голенище сапога, и сказал в землю:

— Разыгрались. Вот оно, Антоново слово: потеряла кибитка колесо!..

Выпрямился и пошел за угол дома, покрикивая негромко:

— Тулун, Тулун...

Хороводом пошли крикливо веселые недели; Мирон, Татьяна, доктор да и все люди стали ласковее друг с другом; из города явились какие-то незнакомые и увезли с собою слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная и жаркая.

— Послушай, Солененький, — говорила Полина, — я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, солдат всех перебили, изувечили; полицию разогнали, командуют какие-то штатские, — как же теперь жить? Всякий чорт будет делать все, что хочет, и, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он, и все другие, кто ухаживал за мной и кому я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все заодно, жить здесь, я должна жить там, где меня никто не знает! И потом: ведь, уж если это сделано — революция и свобода, — то, конечно, для того, чтоб каждый жил, как ему нравится!

Полина говорила все настойчивее, все многословней, Яков чувствовал в ее речах нечто неоспоримое и успокаивал:

— Подожди немного, утрясется это, тогда...

Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится, он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Человек, который привык бояться, всегда найдет причину для страха; Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова, Захар ходил царьком, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой, Митя летал вокруг него ручной сорокой. В самом деле, Морозов приобрел сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах; сожженная кожа на голове его, должно быть, полопалась, он иногда обертывал голову, как чалмой, купальным мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя; огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом; шагал он важно, как толстый помощник исправника Экке, большие пальцы

держал за поясом отрепанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал:

— Товарищи — порядок!

Он судил троих парней за кражу полотна; громко, так что было слышно на всем дворе, он спрашивал воров:

— Вы понимаете, у кого украли?

И сам же отвечал:

— Вы украли у себя, у всех нас! Разве можно теперь воровать, сукины дети?

Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы, а Васька кочегар исступленно пел, приплясывая:

Вот как нынче насекомых секут!
Вот какой у нас праведный судья...

Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и крикнул:

Спаси, господи, люди твоя!

Митя закричал:

— Браво-о!

Митя бегал в серепьких брючках, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, на рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная, зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою; Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шопот, а потом несдерживаемый крик Татьяны:

— Вы — клоун! Вы — бесчестный человек! Ваши убеждения? У нищих — нет убеждений. Ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения... Довольно! Завтра я уезжаю в город, к сестре... Да, дети со мной...

Это не удивило Якова, он давно уже видел, что рыженький Митя становился все более противным человеком, но Яков был удивлен и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадежность рыженького. А теперь даже мать, еще недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала:

— Что уж это, какой он стал несогласный, будто жиденок! Вот, корми их...

Митя кричал:

— Все — превосходно! Жизнь — красавица, умница! Но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами, — это надо забыть, Татьяна Петровна! С этим — опоздали!

Мирон озлобленно и сухо спросил его:

— А что вы скажете завтра?

— Что жизнь подскажет! Да! Ну-с, дальше?

Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно, точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество свое: три больших связки книг и корзину с бельем.

Всюду Яков наблюдал бестолковую, пожарную суету, все люди дымились дымом явной глупости, и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням.

— Ну,— сказал он Полине,— я решил: едем! Сначала — в Москву, а там — подумаем...

— Наконец-то! — обрадовалась женщина, обнимая, целуя его.

Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождем, нагретой солнцем. Было хорошо, но грустно.

Сняв со своей шеи горячие, влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал:

— Прикрой грудь... Вообще — оденься! Надо — серьезно.

Она соскочила на пол с колен его, в два прыжка подбежала к постели, окуталась халатом и деловито села рядом с ним.

— Видишь ли,— заговорил Яков, растирая ладонью бороду по щеке так, что волосы скрипели.— Надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно. Где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот!

— Конечно,— сказала Полина.

— Все надо делать осторожно. Мирон говорит: поезда набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться...

— Только ты возьми с собой побольше денег.

— Ну да, разумеется. Я уеду так, чтоб мои не знали — куда. Я будто в Воргород поеду,— понимаешь?

— А — зачем скрывать? — удивленно и недоверчиво спросила Полина.

Он не знал — зачем; эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это — хорошая мысль.

— Ну, знаешь — отец, Мирон, расспросы... Это все — не нужно. Деньги — в Москве, денег я могу достать много, хороших...

— Только — скорее! — просила Полина.— Ты видишь: жить — нельзя. Все дорого, и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что — как жить?

Оглянувшись на дверь, она шептала:

— Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне, почему же не зарезать, если все так спуталось? Вчера слышу — перешептывается с кем-то. Боже мой! — думаю, — вот! Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленках и — рычит! Ужас!

— Подожди,— остановил Яков быстрый поток ее тревожного шопота.— Сначала уеду я...

— Нет,— громко сказала она, ударив кулачком своим по колену.— Сначала — я! Ты дашь мне денег и...

— Что ж ты — не веришь мне? — обиженно и сердито спросил мужчина и получил твердо сказанный ответ:

— Не верю. Я — честная, я говорю прямо: нет! Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили и всему изменяют? Ты — кому веришь?

Она говорила убедительно, и еще более убедительно говорила грудь ее из складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей; решили, что она завтра же начнет собираться, поедет в Воргород и там подождет его.

На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове, это было весьма правдоподобно; за последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели. И через восемь дней он ехал по дороге от города на станцию; тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин, в них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная

трещинами. Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а впереди из мягкой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце.

Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, разглядывая ладонь свою:

— Должен сообщить тебе нечто печальное: в Москве ко мне явилась эта пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди — гм, какие теперь люди? — избили его и выбросили из вагона...

— Нет! — крикнула Татьяна, попробовав встать со стула.

— На ходу поезда. Через двое суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки.

Татьяна молча прижала платок к своим глазам, ее острые плечи задрожали, черное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять.

Мирон поправил пенсне, хрустнул пальцами, потирая руки, послушал звон одинокого колокола, благовест ко всенощной, затем, шагая по комнате, сказал:

— Что же плакать? Между нами — он был совершенно бесполезный человек. И — неприлично глуп, прости! Разумеется — жалко. Да.

— Боже мой,— сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками, и, помуслив палец, пригладила брови.

— Эта бойкая девица,— говорил Мирон, сунув руки в карманы,— весьма неискусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что — ясно: она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда.

Татьяна отрицательно мотнула головою.

— Нет? Я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом, пусть думают, что Яков жив. Так?

— Да, это лучше,— согласилась Татьяна.

— Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает, но мать утопила бы себя в слезах...

Покачав головою, Татьяна, сказала:

— Скоро мы все погибнем.

— Возможно, если останемся здесь. Но я немедля отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов... Итак: мы старикам ничего не скажем. Ну, извини меня, еду домой, жена нездорова...

Длинной рукою своей он встряхнул руку сестры и ушел, сказав:

— Невероятно трудно ездить теперь, дороги — в ужаснейшем состоянии!

Артамонов старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон, все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна; за окном голубая пустота, иногда ее замазывали облака; в зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой, серой бородою. Артамонов смотрел на свое лицо и думал:

«Хорош комар».

Приходила жена, наклонялась над ним. тормошила и хныкала:

— Уехать надо, лечиться надо...

— Уйди,— лениво говорил Артамонов.— Уйди, лошадь. Надоела. Дай покою.

И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде. А фабрика — молчит.

Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек,— исчез, умер. И хорошо сделал,— думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все: Яков, Татьяна, зять?

Иногда он спрашивал жену:

— Илья — воротился?

— Нет.

— Нет еще?

— Нет.

— А — Яков?

— И Яков.

— Так. Гуляют. А дело Мирошка сосет.

— Ты не думай про это,— советовала Наталья.

— Уйди.

Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые, она похудела, оплыла, как сальная свеча.

Изредка, но все чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме: являлись какие-то чужие люди, он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слышал вопли жены:

— Господи, да — что же это? За что? Ведь это — хозяин, хозяева мы! Ну, дайте я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему! Да — позвольте же увезти-то...

«Спрятать хочет. А — чего прятать? — соображал Артамонов. — Дура. Весь век свой дурой жила. Яков — в нее родился. И — все. А Илья — в меня. Вот он воротится — он наведет порядок...»

Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель.

Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке; сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо, казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукою.

— Есть хочу,— сказал Артамонов; ему не ответили.

Синеватая, сырая мгла наполняла сад; перед беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серая и темная; на скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок,

— Наталья,— слышишь? Есть давай...

Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась, она всегда была где-то близко, а сегодня — нет ее.

«Неужто? — подумал Артамонов, и в голове его стало яснее.— Или — захворала?»

Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело, потом оказалось, что это ружье со штыком за спиною зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал:

— Вы что, товарищи,— шутите? Разве так лошадей держат? Так — свиней не держат! А почему сено не убрано и намокло? А в баню, под замок — хочешь?

Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата:

— Явился еси с небеси, чорт его унеси!

— Командиров стало больше прежнего,— ответил солдат.

— И кто их, дьяволов, назначает?

— Сами себя. Теперь, браток, все само собой делается, как в старухиной сказке.

Человек подошел к лошадям, взял их за гривы,— Артамонов старший крикнул как мог громко:

— Эй, позови жену!

— Молчи, старик,— ответили ему.— Ишь ты, жену захотел...

Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастекленной стены беседки, под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздьями, как рябина; лежать было жестко; он покрыт своей изношенной лисьей шубой, и на нем толстый зимний пиджак. Но — не жарко. Нельзя понять — зачем он тут? Может быть — в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем лошади в саду и солдат у бани? И кто это орет на дворе: «Вы, товарищ, — бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать — рано! Без дураков...»?

Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум в голове. И ног как будто нет; от колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор; он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме.

В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внес холодную тень и густой запах дегтя.

— Это — Тихон?

— А как же...

Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развел руками, точно поплыл над скрипучим полом.

— Кто это орет?

— Захарка Морозов.

— А — солдат к чему тут?

— Война.

Помолчав, Артамонов спросил:

— И сюда враг дошел?

— Это — против тебя война, Петр Ильич...

Хозяин строго сказал:

— Ты, старый дурак, не шути, я тебе не товарищ! Он услыхал спокойный ответ:

— Последняя война, больше не хотят. И теперь — все товарищи. А для дурака я действительно стар.

Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапку. На дворе сиповато, сорванным голосом, командуют:

— И чтобы после восьми часов на улицах — никаких фигур!

— Где жена? — спросил Артамонов.

— Ушла хлеба искать.

— Как это — искать?

— А как же? Хлеб — не кирпич, на земле не валяется.

Сумрак в саду становился все гуще, синее; около бани зевнул, завыл солдат, он стал совсем невидим, только штык блестел как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал: все равно у Тихона ничего не поймешь. К тому же и вопросы как-то прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть.

Тихон заворчал:

— Дурак, а правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил: всем каторга! И — пришло. Смахнули, как пыль тряпицей. Как стружку смели. Так-то, Петр Ильич. Да. Чорт строгал, а ты — помогал. А — к чему все? Грешили, грешили,— счета нет грехам! Я все смотрел: диво! Когда конец? Вот

наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом все это... Потеряла кибитка колесо...

«Бредит»,— сообразил Артамонов; но все-таки спросил:

— Зачем я тут?

— Выгнали из дома.

— Мирон?

— Всех.

— А... Яков?

— Его давно нет.

— Где Илья?

— Слышно — с этими. Надо быть, потому ты и жив, что он — с ними, а то...

«Бредит,— уверенно решил Петр Артамонов и замолчал, думая: — Выжил из ума, старичишко. Так и надо было ждать».

Мелкие, тускленькие звезды высыпались в небо; раньше как будто не было таких звезд. И не было их так много.

Тихон взял шапку и, тиская ее в руках, снова заворчал:

— Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим — легче.

Вдруг, иным голосом, он спросил:

— Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то?

— Ну? Так — что?

Петр Артамонов не мог понять: испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос? Но он тотчас понял, как только Тихон сказал:

— Убил ты его, как Захар кутенка. А на что убил?

Артамонову стало ясно: Тихон, наконец, все-таки донес на него, и вот он, больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорей возмутило нечеловеческой глупостью. Он оперся локтями, приподнял голову, заговорил тихо, с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту:

— Это ты — врешь! И — для каждого проступка есть срок, давность! А ты — все сроки пропустил. Да! И — сошел с ума. И — забыл, что сам видел, сам сказал тогда...

— А — что я сказал? — перебил его старик.— Я,

конешно, не видел, ну — я понял! Сказал, чтоб поглядеть: что ты будешь делать? Я — лжу сказал, а ты — рад, схватился за лжу. Я глядел-глядел, ждал-ждал... И все вы — такие. Алексей Ильич научил тестя своего, пьяницу, трактир Барского поджечь, а твой отец догадался об этом, устроил, что убили пьяницу досмерти. Никита Ильич знал это, он тоже до всего доходил умом. Ему бы молчать, а он, со зла на тебя, мне сказал. Я говорю: «Ты монах, тебе все это забыть надо, а я — буду помнить». Запугали вы его делами вашими. Послали его в петлю, а после в монастырь: молись за нас! А ему за вас и молиться страшно было — не смел! И оттого — бога лишился...

Казалось, Тихон может говорить до конца всех дней. Говорил он тихо, раздумчиво и как будто беззлобно. Он стал почти невидим в густой, жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он все более убеждался, что этот непонятный человек сошел с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал все так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное:

— Веры вы, Артамоновы, и меня лишили. Никита Ильич сбил меня из-за вас, сам обезбожил и меня... Ни бога, ни чорта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь — все видно: раздели вас...

С трудом пошевелив тело свое, Артамонов сбросил на пол страшно тяжелые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе. Это — испугало его, он схватился руками за плечо Тихона.

— Куда? — спросил дворник, грубо стряхнув его руки. — Не тронь. Силы у тебя нет, не задушишь. У отца твоего — была сила,— хвастовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси...

Артамонов все сильнее хотел есть, и его очень пугали ноги.

«Неужто — умираю? Мне еще семидесяти пяти нет. Господи...»

Он снова попробовал лечь, но нехватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону:

— Помоги, подними ноги мои!

Положив на скамью мертвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукою в шапку, в руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся: это игла, Тихон в темноте ушивал шапку, утверждая этим свое безумие. Над ним мелькала серая, ночная бабочка. В саду, в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал:

— Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас...

Тихон заглушил этот голос:

— Тоже и отец твой; он брата моего убил.

— Врешь,— невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил: — когда?

— Вот те и когда...

— Что ты все врешь, безумный? — вдруг возмутился Артамонов, ощущая, как голод сосет и сушит его.— Что тебе надо? Совесть мне ты, судья? Зачем ты молчал тридцать лет с лишком?

— Вот и молчал. Значит — думал!

— Злобу копил? Эх... Ну, ступай, донеси полиции.

— Полиции — нет.

— Скажи — вот, он меня всю жизнь поил, кормил — судите его! Так ведь донес уж! Чего же надо, ну? Прижми, припугни меня,— денег требуй, ну?

— Денег у тебя нет. Ничего у тебя нет. И — не было. А на судей мне — наплевать. Я — сам себе судья.

— Так чем ты грозишь, бредовой человек?

Но Тихон как будто не грозил, Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал:

— Конец всем Каинам. За что брата убили?

— Врешь про брата!

Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга.

— Я — вру? Я с ним был тогда...

— С кем?

— С братом. Я убежал, когда отец твой кокнул его. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то?

— Опоздал ты...

— Ну, вот — опрокинули вас, свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне...

— Безумным остался...

Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где все неразличимо, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил:

— Опоздал ты. Брата — врешь — не было у тебя, у таких, как ты,— ничего не бывает...

— Совесть бывает.

— Ты сам сбил мне с толку сына, Илью!

— Это вы, Артамоновы, сбили меня с толку, Никита Ильич разбередил!

— А он говорил — ты его!

— Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хряснул... Вы — хитрые...

— Ты сам...

— Серафима завели. Он тоже мутил меня: никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде — хитрости...

— Кто идет? К-куда? — сердито, громко крикнули во тьме.— Сказано вам, гадам,— после восьми не двигаться?

Тихон встал, подошел к двери и вывалился из нее во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как сквозь три полосы масляного света в саду промелькнуло широкое, черное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного.

— Достала? — спросил Тихон кого-то.

— Вот — всё!

Это — голос жены. Где была она, зачем она оставила его с этим стариком?

Артамонов открыл глаза, приподнялся на локтях, глядя в дверь, заткнутую двумя черными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват перед ним, по чьей вине жизнь его

была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас все это стало ясно.

Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала:

— Ну, слава тебе, господи...

— Вот, Тихон, кто виноват во всем! — решительно сказал Артамонов и облегченно вздохнул.— Она жадничала, она меня настраивала, да!

Он с торжеством зарычал:

— Из-за нее и брат Никита пропал. Ты сам знаешь, да...

Артамонов задохнулся. Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукою волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала:

— Тихонько, не кричи, тут — злые все...

— Есть давай...

Жена сунула в руку его огурец и тяжелый кусок хлеба; огурец был теплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто.

Артамонов изумился:

— Это — что? Мне? Всё?

— Тише, Христа ради,— шептала Наталья,— ведь — нет ничего! И солдатики тоже...

— Это ты мне — за всё? За весь страх, за всю жизнь?

Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимо, смертельно оскорбительное, в чем даже и она, Наталья, не виновата.

Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твердо:

— Не хочу.

Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришептывая:

— Кушай, кушай, не сердись...

Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:

— Не хочу. Прочь.

1925.

Переплет и титул
художника К. Бурова.

Техн. ред. Л. Новикова.

Цена 4 руб. 10 коп.
по прейскуранту 1952 года

А 04417. Подп. к печ. 10/VI 1952 г.
Формат бум. $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бум. л. 4,375
печ. л. 14,35. Учетн.-изд. л. 14,09.
Тираж 300 000 экз. Заказ 462.

Типография газеты «Правда» имени
Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.